



Виктор КУСТОВ

*По метеоусловиям
Таймыра*

18+

Виктор Кустов

По метеоусловиям Таймыра

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Кустов В. Н.

По метеоусловиям Таймыра / В. Н. Кустов — «ЛитРес:
Самиздат», 2018

Сборник повестей и рассказов о людях страны, которой уже нет. И о том,
каким был советский человек.

Содержание

По метеоусловиям Таймыра	5
Аудитория	16
Пять дней в сентябре	22
В степи	58
Среда, девятое...	67
Охота в Путоранах	75
Конец ознакомительного фрагмента.	84

По метеоусловиям Таймыра

Как ни молился в душе Антипин, ничего не помогло – над аэропортом висели тяжёлые облака, из которых лениво сыпался мокрый снег, и «аннушки» ровной шеренгой стояли на приколе. Но он всё-таки пошёл к справочной. Молоденькая дежурная оторвалась от журнала, привычно произнесла:

– По метеоусловиям все местные авиалинии закрыты.

– Надолго? – спросил он, хотя прекрасно знал, что на этот вопрос ему никто не сможет ответить, и, постояв, вернулся к рабочим.

– Загораем, – поняливо встретил его Харитонов. – Работа стоит, деньги идут... Так мы, с твоего позволения, начальник, отметим перелёт полярного круга...

Антипин обвёл взглядом рабочих, стоящих за спиной у Харитонова, буркнул:

– Только не до вытрезвителя.

– Обижаешь!.. – Харитонов прищурился. – Мы как миллионеры, в банке много, в кармане – шиш.

Он повернулся, вразвалку пошёл через зал на яркий указатель «Ресторан», и следом послушно потянулись остальные.

Золотоискатели, так вас и растак, – уныло подумал Антипин, провожая взглядом сутулые спины в одинаковых, защитного цвета телогрейках. Крикнул вслед:

– Харитонов! В шесть у справочной жду!

– Замётано.

Антипин вышел на улицу.

Снег падал ещё гуще, не оставляя надежд пассажирам на скорый вылет. На горизонте смутно серели унылые пятиэтажки Алыкели и два виднеющихся вагона ждущей электрички. Махнуть бы в город к приятелям – и ожидания бы не заметил, помечтал он и с раздражением подумал о своей команде: накуролесят без него, за всё лето не расхлебашь. Потом, с таким же раздражением, вспомнил начальство, оттянувшее вылет на два дня, а эти два дня – вот они и обернулись теперь июньской метелью.

Он курил, стоя под козырьком аэровокзала, провожая спешащих на электричку неuleтвших отпускников. И завидовал им: пусть через день, два, неделю, но всё равно улетят они в свой длинный отпуск, на морские пляжи, под жаркое солнце, а у него пятый год лето проходит в тундре, пятый год купаться и загорать будет в бане да под кварцевыми лампами.

– Бородатенький, – потянула его за рукав намалёванная красавица в дублёнке. – Будь любезен, разреши сигаретку?..

Он вытащил из пачки две.

– Зачем? – Она скользнула пальцами по его руке. – Я сама могу тебя угостить...

Он оглядел когда-то красивое, а теперь уже помятое усталое лицо, стараясь поймать взгляд, но женщина отводила глаза и, кривя губы, шумно выпускала дым.

– Так я ведь, миленькая, ещё только туда, а не оттуда, так что... – он похлопал по планшету, – пустой ещё.

Она прищурилась, жеманно оттопыривая пальцы с зажатой сигаретой, постучала носком сапога по мокрому бетону; он усмехнулся – точь-в-точь, как скаковая лошадь.

– Ты мне нравишься. Когда обратно ждать?

– Когда пухлый станет, – он опять похлопал по планшету.

Женщина натянуто засмеялась, но не уходила, и Антипин спросил:

– Может, три рубля дать? Авансом.

– Я о таком мальчике всю жизнь мечтала.

– Помечтай ещё, девочка...

Он пошёл в зал, с горечью думая, что вот и здесь, у чёрта на куличках, появились ждущие девочки, с услужливым телом и цепкими пальчиками...

На выдаче багажа остались только его ящики, и дежурный, недовольно ворча, придиричиво сверил номера и вытолкнул их за перегородку. Антипин хотел попросить его помочь отнести багаж в камеру хранения, но передумал, стал таскать сам.

Потом опять вышел на улицу, хотя и так было видно, что снег не только не убавился, а повалил ещё пуще – ночь в аэропорту им была гарантирована. И хорошо, если только одна.

В маленькой гостинице мест не было, в ожидании, что кто-то вдруг съедет, в фойе томилась сонная очередь, и Антипин пошёл в комнату дежурного милиционера. Белёсому сержанту сказал, что по делу к старшему, и тот неохотно пропустил его к лейтенанту, пристроившемуся в маленьком закутке между камерой предварительного заключения и столом дежурного милиционера.

– Слушаю, – сказал лейтенант, отводя взгляд от окна.

Антипин протянул свои документы, потом пачку паспортов рабочих и, не ожидая приглашения, присел на стул. Тот полистал документы, недоуменно вскинул глаза.

– Так в чём дело?

– Контингент у меня, сами понимаете, – неторопливо начал Антипин. – И из мест заключения, и такие, что чудом там не побывали, а тут вот нелётная погода. В гостиницу их устраивать опасаясь, да и мест нет, ну а в зале, сами понимаете, всё может случиться... Помогли бы с ночлегом, у вас вот свободно...

Лейтенант пристально посмотрел на Антипина, не шутит ли, но лицо у того было серьёзным, и произнёс:

– Попрошу ещё документы.

Антипин опять вывалил всё на стол. На этот раз лейтенант листал их гораздо дольше.

– Ладно, – возвращая паспорта, сказал он. – Учтём. Если часиков до двенадцати никого не посадим, переночуете в кэпэз, устраивает?

– Их всё устраивает.

– А вас?

– Меня тем более... Благодарю.

До шести часов Антипин побродил по залам, прочитал с первой до последней строчки трёхдневной давности «Известия». В шесть вечера у справочной никого не нашёл и поднялся в ресторан.

Рабочих он увидел в дальнем углу, в дымном тумане, и пока пробирался к ним между тесно стоящими столиками, заметил и давешнюю «девочку». Она что-то нащёптывала заросшему грязной щетиной мужичку, ласково поглаживая обмороженные, со слезшими ногтями, пальцы. «Мальчик» пьяно улыбался.

– А, начальник... – поднялся навстречу Харитонов. – Садись, не побрезгуй.

Антипин придвинул свободный стул, выпил протянутую Харитоновым рюмку, закусил балыком.

– Красиво гуляете, – сказал он, оглядывая стол с початыми бутылками коньяка, водки, дорогими закусками.

– Напоследок... – ткнулся через стол пьяный Сёмушкин.

Харитонов положил ему на плечо руку:

– Отдыхай, Семён, отдыхай... Познакомься, начальник.

Антипин кивнул. Он уже давно разглядывал краснощёкого вербовщика, сидящего рядом с Харитоновым.

– Ну, как положено, за знакомство, – потянулся тот с рюмкой через стол, и Антипин чокнулся.

– Угощаем, значит, – сказал он вербовщику, и тот, нагло усмехнувшись, кивнул: «Угощаем».

«Знаем твоё угощение», безмолвно продолжил Антипин, и тот так же безмолвно ответил: «а как же иначе?» И по тому, как блеснули его глаза, Антипин понял, что дело своё вербовщик считает сделанным и его, Антипина, совсем не боится.

Он положил на планшет руку, и вербовщик его понял.

– Ну всё, мужики, – сказал он. – Вы сидите, а у меня дела...

И покатил между столами, поблёскивая вытертым костюмом.

– Допьёте, найдёте меня в зале, – поднялся Антипин.

– Сделаем, начальник, будь спок.

Он вышел из ресторана, обошёл зал, но вербовщика и след простыл.

Понятливый, подумал Антипин, и без особой надежды, но всё же помолился на хорошую погоду. Больше он ничего сделать не мог...

В полночь КПЗ осталась свободной и пьяных, но ещё держащихся на ногах рабочих Антипин разместил на ночлег.

– С вас бы не только за удобства, за вытрезвление брать деньги надо, – сказал лейтенант.

– У них в карманах дырки, брать нечего, – трезво объяснил Антипин. – Ничего, они спокойно спят.

– А вы здесь можете переночевать, – посочувствовал лейтенант, кивая на свой угол. – На стульях. Жёстко, конечно, но выспаться можно.

– Да я уж с ними, за компанию.

Антипин, подвинув храпящего Харитонову, опустился на пол у двери, снял куртку, бросил под голову планшет, хотел сдать на хранение лейтенанту наган, но передумал, сунул его туда же, под голову, и с наслаждением вытянулся, всем телом чувствуя неодолимую усталость.

...Проснулся Антипин от криков, причитаний и громких голосов.

В КПЗ никого не было. Натянул сапоги, подхватил свои вещи и вышел на свет. Перед лейтенантом, размазывая слезы, сидел вчерашний «мальчик». Из расстёгнутого ворота рубашки выглядывали седые, мокрые от слёз волосы.

– Проснулись? – повернулся лейтенант. – А ваши недавно пошли завтракать.

– Стер-р-ва, – канючил мужчина. – Паскуда...

– Ну-ка, не выражайся! – прикрикнул лейтенант и, повернувшись к Антипину, пояснил: – Пять тысяч, говорит, спёрла. А кто – не помнит.

– Спасибо за ночлег, лейтенант.

Ресторан был закрыт.

В буфете рабочих не оказалось. Антипин выпил кофе и пошёл к справочной. Уже другая дежурная, ещё более юная, чем вчерашняя, сообщила, что вроде скоро должно распогодиться. Антипин потолкался у регистрационной стойки. Длинная очередь упорно дремала на ногах, и он тоже решил далеко не отходить. Только вышел на крыльцо, посмотреть погоду.

Снег действительно поредел и тучи вроде бы поднялись повыше, отодвинулся горизонт – он теперь опирался на белую полосу тундры и последний вагон электрички.

Вернувшись, увидел спрессованную толпу у стойки. Дежурная, возвышающаяся над ней, хрипло кричала:

– На Хантайское озеро за вчерашнее число. Только за вчерашнее!..

– Есть за вчерашнее! – крикнул Антипин и врезался в толпу, поднимая над головой планшет. – Вот здесь, девушка...

– Что вы мне суετε?! – прокричала дежурная.

– Да не граната же, билеты там, документы...

Проклиная запропавших куда-то рабочих, Антипин пробился к стойке, расстегнул планшет.

– Сейчас, девушка, сейчас, – вытащил свои документы и снова приподнял крышку планшета, уже догадываясь, но ещё не веря в случившееся.

– Есть на Хантайское озеро за вчерашнее число?! – кричала дежурная. – Где ваши билеты?

– Простите, – сказал Антипин. – У нас на завтра, я ошибся. – И стал выбираться из толпы.

«Ах, золотой ты мой, понятливый, – думал он. – Ах ты, девочка моя лысая. Как ещё наган не унесли, а то так бы в камере и прописался.

Ну, душенька, чтоб тебе намучиться с моими рабочими, чтоб тебя начальство поскорее вытурило за такую работу.»

И ему казалось, что его искренние пожелания должны были дойти до ловкого вербовщика, и сильно ему икалось.

Но он всё-таки заглянул к лейтенанту. Тот уже передавал дела такому же неторопливому, но строгому коллеге, и на вопрос Антипина, радуясь предстоящему отдыху, бросил:

– Не было, не было твоих, как ушли с утра, так и всё. – И насторожился: – Случилось что?

– Всё нормально, – успокоил его Антипин.

Он нашёл в зале пустое кресло и просидел в нём, оценивая ситуацию, до тех пор, пока не услышал произнесённую по динамику свою фамилию.

– Антипин Павел Сергеевич, вас просят подойти к справочной...

Антипин Павел Сергеевич, вас ожидают у справочного бюро.

Кто меня может ожидать, кроме моих болот? – подумал Антипин, но всё же пошёл.

Сначала он решил, что в телогрейке защитного цвета стоит у окошка Сёмушкин. Но похожий на Сёмушкина обернулся и оказался незнакомым парнем.

– Я Антипин, – сказал он в окошко. – Кто меня ждёт?

– Вот этот товарищ, – высунулась дежурная, показывая на парня.

– Вы Антипин? – обрадовался тот. – Я – Жигайло, Вадим Жигайло, слава богу, догнал вас, а то боялся, придётся в тундре искать.

– Догнали, – протягивая руку, согласился Антипин. – Только зачем?

– Я – практикант, меня к вам направили.

– Прекрасно. Только вас?

– Да, сказали, что у вас рабочие есть, я буду техником.

– Правильно сказали. Ну, идём...

Антипин повёл Жигайло в ресторан.

Смотрел, как изголодавшийся практикант ест, внимал его восторгам от Заполярья, куда тот попал впервые, и думал.

– Нет у меня рабочих, Вадим, – сказал он наконец. – Сбежали. Так что пока нас двое.

Он не стал объяснять, что произошло, начальственным тоном произнёс:

– Вот здесь, в аэропорту, мы должны найти с тобой двух рабочих.

И улететь сегодня. Задача ясна?

– Не совсем.

– Значит, ясна. Встречаемся возле кабинета начальника аэропорта.

Чтобы один рабочий с тобой был.

... Жигайло привёл Манохина, а Антипин нашёл Сердюка. Манохин Антипину не понравился. Он смотрел исподлобья и всё время руки держал в карманах нового ватника. Сердюк же был здоровый, широкоплечий флегматик с простецким, даже несколько глуповатым лицом.

– Согласен? – спросил Антипин Манохина.

– Всё одно.

– Ну, давай паспорт.

– А это не подходяще?

Манохин протянул справку, и Антипин понял, что первое впечатление его не обмануло. Он посмотрел Манохину в глаза и пошёл к начальнику аэропорта добывать билеты.

– Не брешет? – спросил Сердюк у Вадима Жигайло, кивая в сторону двери. – Говорит, за месяц больше чем по пятьсот чистыми будет?

– Точно, – ответил за него Манохин. – А то и вся тыща, готовь мешок.

– Зачем мешок? У меня сберкнижка есть, я деньги туда...

– Ну-ну...

...Антипин вышел из кабинета красный и злой, но с билетами.

Через толпу к стойке его протолкнул Сердюк. Дежурная сказала, что самолёт уже переполнен, но Антипин раскрыл планшет, дал взглянуть ей на воронёный наган и сказал, что везёт спешный и важный груз.

Пока они таскали ящики, пассажиры мёрзли в неотапливаемом салоне самолёта, а лётчик многозначительно стучал по часам. Потом, когда самолёт поднялся, Антипин зашёл в кабину и оставил пилотам вторую флягу со спиртом из своего «энзэ».

– Геолог? – наклонился второй пилот, засовывая флягу в карман меховой кожанки.

– Вроде... За поле, на удачу.

– Как положено... А то пусть до обратной тропы полежит, вместе и отметим... – Пилот широко улыбался, зная, что никак фляжка не долежит до возвращения Антипина и что тот понимает это, и Антипин улыбнулся:

– Тогда другая будет.

Самолёт начало бросать, и лётчикам стало не до него.

Он вернулся на свои ящики. Под крылом тянулась тундра, которая, пожалуй, не приелась ещё только Жигайло, прилипшему к иллюминатору. Тундра тянулась бесконечной и безмолвной пятнистой гладью, и Антипин удивился, что даже сейчас он не ненавидит её...

Евсеич, председатель рыболовецкого колхоза, словно ждал его, и Антипина это растрогало, хотя он знал, что так встречают здесь каждый самолёт. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам. Евсеич увёл его к себе, велел накормить и позаботиться об остальных.

Скоротали вечерок, повспоминали, но второпях, как, впрочем, всегда бывало в первый день.

Ночевали в доме правления, который Евсеич с удовольствием уступал всем приезжим. Поздно вечером, покуривая на крылечке правления, они предварительно, вчерновую обговорили маршрут, разделили участки и рабочих, а наутро вышли на маршрут.

Сердюка Антипин отправил с практикантом. Сердюк был ему ясен: трудяга-старатель, одержимый мечтой побольше накопить да побыстрее вернуться к себе в деревню, где и мамка с батькой живут, и ядрёная девка ждёт не дожждётся... Манохин больше молчал, деньгами не интересовался, посмеивался над Сердюком. Но в этом молчании была какая-то опасность, в которой Антипин никак не мог разобраться. Из-за Манохина он был сердит на практиканта, который привёл того.

Антипин показал по карте маршруты, сообщил сроки, сказал, что так как они будут брать пробы двумя, а не тремя парами, а сроки жёсткие, придётся работать от темна до темна.

– Которого здесь не бывает, – с иронией заметил Манохин.

Антипин пропустил это мимо ушей: пусть считает, что он новичок в тундре, если ему хочется; но сделал вывод, что срок Манохин отбывал в этих краях. Сердюка длина рабочего дня не интересовала, по четыре часа спать, так по четыре, только бы деньги платили.

– Так каждый за полторы будет работать? – спросил он. – А заработок?

– Тоже за полторы, – кивнул Антипин. И чтобы Сердюк не мучился, добавил: – Почти тысяча получится.

Теперь он был уверен, что тот будет работать на совесть. Манохин отнёсся к сказанному вроде бы равнодушно.

Перед выходом Антипин выдал каждому по водозащитному костюму, комплекту «ЭНЗЭ», распределил по рюкзакам продукты и бензин для примуса. Карабин отдал Жигайло. Он планировал в две недели закончить одно большое кольцо к северу от озера, затем, забрав в посёлке оставшиеся продукты – второе, поменьше.

Сразу за посёлком разделились, разошлись вдоль разных речушек. Замеряя показания, занося всё новые и новые данные в блокнот, Антипин иногда ловил себя на мысли, что всего лишь месяц – и кончится его пятилетняя бродяжья жизнь, кончится, закроется тема в его институте и подойдёт к концу его кандидатская. Нет, он хотел вернуться в тундру, хотел, но только после длинного жаркого лета, после тёплого моря, и наконец-то без цели, без вечной гонки, спешки, без рюкзака, пригибающего к земле. Приехать туристом, пощёлкать фотоаппаратом, полюбоваться экзотикой, попить чайку недалеко от посёлка, но в настоящей тундре, и вернуться на комфортабельный пароход с уютной каютой, душем, унитазом...

Манохин послушно, но без энтузиазма выполнял всё, что Антипин приказывал: таскал рюкзак, брал пробы, но если выдавалась свободная минута, садился и тусклым взглядом озирает тундру, блюдца озёр, болота и Антипина. По вечерам, почти не ошибаясь, кто раньше, кто позже, обе пары выходили на место ночёвки. Если рядом оказывались чахлые деревца, разжигали костёр, если нет – кипятили на примусе чай и ужинали консервами. Консервы и концентраты – это всё, что несли они на себе, остальное давала тундра. Больше всех везло Сердюку. И рыба ему попадалась крупнее, и утки чаще вылетали на него. К концу недели карабин перекочевал к нему и Жигайло, постигший правоту пословицы, что в походе и иголка тяжела, был этому только рад.

Первый маршрут сделали в планируемые две недели. Председатель колхоза приготовил им сюрприз: протопил баньку. После баньки Антипин распечатал припрятанную именно для такого случая бутылку спирта.

– Ну, Евсеич, за очередное лето, – и повторил, что говорил при каждой встрече за пять лет: – За богатую тундру.

– За тундру, Сергеич...

Жигайло опьянел сразу. Это было неудивительно после двухнедельного недосыпания, после почти двухсоткилометрового маршрута по болотам и кочкам, и, слушая его пьяные, но не лишённые мысли разлагольствования, Антипин подумал, что Вадим практику выдержал. И не только производственную... А может, даже не столько производственную...

– Давай ещё смажем, – сказал Евсеич и достал свою, припрятанную тоже для такого случая, бутылку.

– Что, скрипят? – спросил Антипин.

– Скрипят, – поморщился председатель и потёр припухшие колени.

– На грязи тебе надо да на горячий песочек, – в который раз повторил Антипин говоренное и прошлым, и позапрошлым летом.

– Я уж и так в непогодь в море не хожу.

– А вы что, всё время здесь живёте? – спросил Сердюк.

– Так и этак, считай, лет двадцать, – отозвался Евсеич.

И охотно стал рассказывать, о чём Антипин хорошо знал. Как не по своей воле попал Евсеич в Норильск, отработал положенное, вернулся в родной провинциальный городок в центре России и не застал в живых ни мать, ни отца. Не дождалась его и жена, уехала с новым милым на целину. Ехал домой, а оказалось, что нет у него никого и ничего. И от такой тоски и одиночества развернулся Евсеич опять и полетел на север. Тут его один приятель и подбил в рыболовецкую бригаду махнуть.

– Помянем, – сказал Евсеич, и все выпили, хотя только один Антипин знал, кого помянули. Приятель Евсеича лет десять назад утонул в озере. Его не нашли, но Евсеич соорудил памятник: на скале, нависшей над озером, поставил плоский, окатанный холодной водой

камень и каждый год подновлял на нём надпись. Надпись эту Антипин хорошо помнил: *«Не отцу, не брату, не другу, самому себе, каким был, каким стал и каким умру. Скорблю и внемлю. Здесь похоронен Сидор Макухин – человек».*

– А как вы с местными живёте, нормально? – спросил Сердюк. -

Ничего народ?

– Народ хороший, работающий.

– Так вы и по-ихнему говорите?

– За двадцать лет я уж многому научился, – усмехнулся Евсеич.

Сердюк расспрашивал о заработках.

Жигайло спал, по-детски пуская слюни.

Манохин вертел в руках кружку и, всё краснея, не спускал глаз с Евсеича. Вдруг спросил:

– Доволен?

– Живу, – ответил Евсеич.

– Денег, наверное, мешок скопил?

– Деньги-то есть, тратить здесь их некуда. Могилки родительские в порядок привёл, главное сделал...

– Да не счастлив ты, притворяешься! – с нескрываемой злобой перебил Манохин. – Гни-ёшь тут, а довольного жизнью корчишь, для простачков.

– Манохин... – предупреждающе произнёс Антипин.

– Что Манохин? Говорю, что думаю, запретишь?.. Запрещать все любят.

– Пусть, – вступился Евсеич. – Человеку выговориться надо, пусть.

– Ладно, этот, деревня, – кивнул Манохин на Сердюка, – он хоть не скрывает, что деньги любит, а то – «народ хороший, привык, дело делать надо»... Кому надо? Жизнь – это когда всё есть, когда что хочешь, то и делаешь, что хочешь – покупаешь, куда хочешь – едешь. Да если б ты, старик, волен был, ты в этой дыре часу лишнего не высидел бы, а начальник, тот никогда б на севере и не побывал... Честно надо: жить не умеете! Сил нет на настоящую жизнь. Притворяетесь...

– А ты? – спросил Антипин.

– Я?.. – Манохин медленно допил спирт. – У меня сила есть. Только не дают всякие-разные... А каждый в жизни о себе думать должен. Ты для меня пальцем не пошевелишь, и я для тебя. Своя шкура – главное.

– Он прав. – Евсеич потёр коленки. – Ломит... Прав он, Сергеич, каждый о себе должен думать, только не по тому кодексу, через который и я прошёл, а по человеческому, общему... Как Сидор, который на перевёрнутый баркас всех разместил, а самому места не хватило.

Манохин заскрежетал зубами и вышел.

– Ничего, – повернулся к Антипину Евсеич. – Правильно сделал, что с собой взял. Раз заговорил, значит, сомневается.

– Нервный он, – добродушно произнёс Сердюк. – А если за деньги, плохо разве?.. Я ж не краду, своими руками, вот. – Он вытянул широкие мозолистые ладони. – А если кому надо помочь, я и за так, просто, что Сердюк – не человек?..

Он вышел за Манохиным. Поднялся было и Антипин, но Евсеич придержал:

– Сами разберутся, ничего... Так обратно ждать в срок?

– Думаю, успеем, – кивнул Антипин.

За стеной бубнили.

Он прислушивался к интонациям, но разговор, похоже, шёл мирный.

Первым вернулся Манохин, молча завалился спать.

Поёживаясь вошёл Сердюк, принес с собой прохладный, пахнувший рыбой воздух. Помог Антипину уложить уснувшего за столом практиканта. Прихрамывая то на одну, то на другую ногу, пошёл к двери Евсеич. Антипин вышел с ним на крыльцо. Там уже ждал молодой

эвенк Алексей, который называл Евсеича отцом. Он подставил плечо, и Евсеич, опершись на него, спустился и медленно, держась за Алексея, пошёл в сторону своего дома.

...На третью неделю пригрело солнышко. Белые шапки снега на северных склонах недалёких гор посерели, стали на глазах уменьшаться. Тундра оживала. Откровеннее всех стремительному наступлению заполярного лета радовался Жигайло. Радовался и поражался, как некогда поражался Антипин, прежде чем поверил в своеобразную, суровую жизнь в этих, безжизненных на первый взгляд, безлюдных просторах. Поверил и принял.

Хозяйственный Сердюк досаждал вопросами о ягодах, дичи, куда сбывать добычу и почём, да и Манохин вроде разошёлся, не так уныло стал оглядывать болота, оживившиеся длинноногими шустрыми куликами и суетливыми утками. И всё-таки нет-нет да ловил на себе Антипин его изучающий взгляд.

Как ни торопились, но к намеченному сроку уложиться не успевали. Поползли наледи, вскрылись болота, и прочерченный на карте маршрут приходилось постоянно корректировать.

Антипин решил не делать больше совместных ночёвок; договорившись с Жигайло встретиться через три дня, они разошлись. После первой ночёвки он понял, что сделал это напрасно, потому что проснулся разбитый, с ломотой во всём теле. Понял, что заболел, но, преодолевая слабость, уложил рюкзак, нацепил планшет.

К обеду он почувствовал себя хуже, но не подал виду. Велел Манохину открыть консервы. Начал спускаться к речушке, возле которой остановились, но каждый шаг отзывался тупой болью, и Антипин вернулся, впервые нарушив им самим заведённый порядок.

– Я открою, – забрал у Манохина банку. – Возьми пробы.

Манохин ничего не сказал, но всё так же продолжал сидеть на подсохшем мху прогретого пригорка. Чувствуя, как наливаются свинцовой тяжестью ноги, Антипин спустился к воде сам, сначала бросил в рот пару таблеток, потом набрал пробирки. Повернулся и растерянно замер.

Манохин стоял на пригорке и в его вытянутой руке чернел наган.

Антипин сунул руку в карман куртки, но Манохин хрипло сказал:

– Твой наган, не ищи.

– Выпал, значит.

– Не выпал, начальник. – Манохин обхватил рукоятку двумя руками, и Антипин увидел чёрный маленький круг, направленный в его переносицу. Глаза у Манохина были белыми и невидящими, и Антипин почувствовал, как по лопаткам, позвоночнику прокатилась горячая волна.

– Страшно? – скривил тонкие губы Манохин.

– Страшно, – хрипло ответил он. – Только зачем тебе? Денег у меня – двести рублей на обратную дорогу. Да и не уйдёшь отсюда, только на озеро...

– Страшно всё-таки. А я думал, что не испугаешься. – Манохин опустил левую руку. – Возьми.

Антипин качнулся и медленно пошёл к нему, стараясь не смотреть в это притягивающее отверстие, физически ощущая, как «отпечатывается» оно то в одном, то в другом месте его тела.

– Эх, начальник... – срывающимся голосом произнёс Манохин. – Жизнь моя и так загубленная...

И выстрелил.

Антипин пригнулся, уже не в силах не смотреть на покачивающийся ствол и пуля прожужжала над его головой Манохин опустил руку, разжал ладонь и носком сапога толкнул упавший наган к Антипину:

– А если ты меня убьёшь, пойдёшь ведь со смягчающими, в целях самозащиты...

– Как убийца.

Антипин поднял наган, прокрутил барабан, выбрасывая патроны в болото и, разрядив, рукояткой вниз засунул его в рюкзак. Опустился на мягкий мох, переждал черноту в глазах, стал записывать показания приборов.

Манохин молча постоял над ним, потом с пробирками спустился к речке.

...На следующий день Антипин почувствовал себя совсем худо.

Его знобило, на шеё зловеще набухал фурункул. Он прикинул по карте, где могут быть Жигайло с Сердюком, и весь день они шли с Манохиным, как туристы на экскурсии, не делая замеров. Антипин, тяжело дыша – впереди, преодолевая всё усиливающуюся слабость.

Манохин молча шёл следом, иногда что-то насвистывая или отбегая в сторону, чтобы спугнуть увлечшихся поединком драчливых петухов. Всё чаще Антипин ложился отдыхать. Лежал, хватая ртом колючий воздух. И Манохин ложился, лениво жуя вытаявшую из-под снега морошку...

После обеда они наткнулись на следы, и Антипин отправил Манохина догонять мужиков, а сам пошёл следом. Одному идти было легче, он не тянулся из последних сил, чаще останавливался, ожидая, пока успокоится колотящееся в груди сердце. Ему было уже безразлично, закончит он в этом году диссертацию или нет. Ему был безразличен Манохин. Ему было безразлично всё, кроме упругой, кочковатой, покрытой мхами, остатками снега и водными зеркалами тундры.

Так он шёл, наверное, долго, потому что сухость во рту стала обжигающей – ведь когда Манохин уходил, он совсем не хотел пить. Антипин думал, как хорошо в пустыне, как жарко, как приятно это, когда жарко, когда прожигает насквозь...

Сначала он увидел Сердюка, стоящего на самом краю горизонта, и только потом Манохина. Сердюк был далеко и где-то вверху, а Манохин рядом и внизу, были видны только его плечи и руки, вскинутые кверху и судорожно цепляющиеся за воздух. Манохин молча скрёб пальцами по скользящему во льду мху и, увидев Антипина, сдавленно прохрипел:

– Всё. Хана мне...

И тогда Антипин догадался, что того засасывает болото, что Манохин не отдыхает, как он думал секунду назад, а медленно уходит в тягучую жижу.

– Держись! – прохрипел Антипин и, сбрасывая рюкзак, стал искать глазами хоть какой-нибудь кустик. Но вокруг безбрежным полем стлался мох.

Антипин лёг на край болота, но не достал ищущих рук Манохина.

И тогда он стащил болотные сапоги с длинными отворотами, двумя чёрными лыжами бросил их в трясину, сорвал куртку, накинул сверху, лёг на неё, чувствуя, как медленно проваливается вниз, но всё же успев втолкнуть руку в цепкие пальцы Манохина.

– Ногами не шевели, – прохрипел, сплёвывая холодную коричневую жижу, заползающую в рот, и тянул, тянул Манохина, проваливаясь сам всё больше и больше.

Лицо Манохина приближалось, и глядя в его глаза, Антипин подумал, что если и есть в человеке душа, то душа Манохина сейчас в этих огромных глазах...

Потом Манохин сумел ухватиться одной рукой за кочку и, плеснув в лицо Антипину сгусток грязи, пополз к берегу, а Антипин поехал на куртке в другую сторону – туда, где только что был Манохин. Он уже весь был в коричневой жиже, только пальцы ног всё ещё чувствовали мокрый мох и руки упирались в податливую ткань куртки там, под грязью, и их можно было выдернуть. Он их выдернул и почувствовал, как потянула его к себе ненасытная и бездушная глубь, подумал, что дело дрянь, но тут кто-то сильно дёрнул его за ноги и он окунулся в вязкую жижу...

Антипин пришёл в себя от тепла, расходящегося по телу. Жигайло прижимал к его губам флажку и он, ещё раз глотнув, спросил:

– Манохину дали?

– Дали, – сказал Жигайло. – Вон он, сушится.

Манохин сидел между маленьким костерком и гудящим примусом и смотрел на Антипина.

– Ну как? – спросил Жигайло.

– Нормально, – кивнул Антипин.

– Тогда я пойду, помогу Сердюку, он там в километре отсюда сушняк нашёл.

– Иди.

Антипин лежал и смотрел на солнце. Красный шар скользил по горизонту, и Антипин подумал, что сейчас по метеоусловиям Таймыра все маленькие и большие порты и днём, и светлой ночью будут бесперебойно принимать борта.

Манохин перетащил его вместе со спальным мешком к костру, поставил рядом примус и сел, плотно прижавшись к его спине.

– Скажи, зачем ты полез ко мне? – хрипло спросил он.

Антипин помолчал, всё ещё думая о лётной погоде, потом ответил:

– От страха... Страшно, когда рядом кто-то умирает. Страшно...

... К следующему вечеру Сердюк и Манохин вынесли его к посёлку. Жигайло связался по рации с Норильском, самолёт обещали прислать утром. Евсеич натопил баньку, и вдвоём с Алексеем они пропарили Антипина, закутали в оленьи шкуры, и ему снилось, что он лежит на огромном раскалённом пляже и самое живительное тепло – тепло земли – множеством игл пронизывает его тело...

К самолёту он хотел идти сам, но его уложили на носилки, и Манохин с Сердюком осторожно поставили их возле кабины. Жигайло сел рядом. Рабочие всё ещё стояли, и Антипин попытался пошутить:

– Так стоя и полетите?..

– Останемся мы, – отозвался Сердюк. – Я там Вадиму всё записал, пусть деньги перечислит на книжку. С Евсеичем мы... Порыбачим...

Выздоровливайте, на следующее лето прилетайте.

– Дождёшься?

– Дождусь, – твёрдо пообещал Сердюк.

Он загремел сапожищами, а Манохин задержался, поглядывая на Жигайло, и Антипин сказал:

– Где там Евсеич? Взгляни, Вадим.

Жигайло понятливо оставил их одних.

– Ну что, Манохин, и ты остаёшься?

– Не говори, что zapomнишь, – сказал Манохин. – Я тоже постараюсь скорей всё забыть. Неприятное надо забывать. Если милиции понадобится, зимой здесь найти смогут.

– Живи, Манохин, – сказал Антипин. – Никому ты не нужен. Вот только если Евсеичу...

Он протянул руку, и Манохин, помедлив, протянул свою. Его ладонь, крепко сжимавшая антипинскую, подрагивала.

Поднялся в самолёт Евсеич, поставил в угол мешок вяленой рыбы, перекрестил Антипина.

– Не верующий, но на всякий случай.

Глаза у него заблестели, и Антипин подумал, что на следующее лето он обязательно увезёт Евсеича с собой в отпуск, на лечебные грязи.

Зашли лётчики, отобедовшие в колхозной столовой, зашумели, погнались прочь провожающих, и командир спросил Антипина:

– Ну как, летим?

– Летим, – сказал Антипин. – Как там, по метеоусловиям?

– Всё нормально, – ответил тот. – Круглые сутки солнце. Лето.

Антипин приподнялся на носилках, Вадим Жигайло подложил ему под спину рюкзак, и он увидел в иллюминаторе тёмную рябь озера, покачивающиеся баркасы и фигурки людей. Он увидел тундру, освещённую ярким солнцем, с блестящими зеркалами нерастаявших снегов...

Аудитория

Почему именно ЭТА?..

Не просторная и светлая, в которой артистично-элегантный кандидат искусствоведения Корнилов остроумно и раскованно читал курс диалектического материализма; не уютный кабинет рядом с кафедрой, заставленный приборами и конструкциями, с отрешённо-колоритной фигурой страстного курильщика Селезнёва (он умер спустя год после выпуска нашего курса, а ему было всего сорок) и не любая из множества других аудиторий, а именно эта, узкая и высокая, в которую никогда не заглядывало солнце, разместившаяся между вторым и третьим этажами и с двумя, с разных этажей, дверьми, со скамьями, нависающими одна над другой так, что макушка нижесидящего сокурсника вызвала необъяснимую жалость, а преподаватель, входящий в нижнюю дверь и застывающий у чёрного квадрата доски, в проекции походил на экранного Чаплина.

Именно эта аудитория, в которой каждый всегда занимал одно и то же, облюбованное с первой лекции, место: впереди, чуть возвышаясь над преподавателем, но ещё находясь в поле его зрения, – низенький увалень Иванов-маленький; будущий краснопдипломник Митрофанов с бросающимися в глаза залысинами и очкасто-занудливая Пенкина; во втором ряду с краю примостился краснолицый Иванов-большой, через промежуток от него – две подружки, Сёмкина и Голубец, обожавшие танцы и сплетни; потом – независимый Горностаев... Был и ещё кто-то дальше, но кто, не помню... А чуть выше уже видна Оля, её золотые волосы отражали волны взглядов занимавших самый верхний ряд Мишани, Женьки Сухорукова, Димки Слепня и...

Одним словом, почему именно эта аудитория стала единственным местом, которое смогло однажды собрать разлетевшиеся по свету души бывших однокурсников, чтобы они – независимо от их новых масштабов – заняли выбранные некогда в юности по наитию места: те самые, на которых каждому было удобно заниматься тем, чем хотелось заниматься тогда, в юности?..

Я не знаю...

Ни Корнилов, ни Селезнёв не читали в ней лекции, но даже если бы и читали, они, я уверен, были бы неотличимы в рядах густых шевелюр или проплешин, искусственных завитушек или надменной гладкости других преподавателей...

...Входить и выходить, пригнувшись, во время лекции в дверь третьего этажа, посмеиваясь над преподавателем – это ли не свобода!

И не потому ли она снится и помнится?!

Вот и сейчас, только закрыл глаза, а уже бреду по длинным полутёмным коридорам, спотыкаясь о выбоинки лестничного марша (Господи, неужели руки так и не дошли за столько лет?), замираю посередине марша (а может, войти в нижнюю дверь, всё-таки возраст и положение?), но плюю на условности и, грохоча каблуками, врываюсь в узкую щель двери: «Привет, вот он я...»

Ох, это чудо сновидения, способного многомерность времени и многогранность жизни сконцентрировать в одной точке...

Я произнёс бодрое «Привет...» и плюхнулся на своё место, тут же у двери, упёршись в Мишаню, и тот в ответ поддел меня локтем и устоялся на задравшего голову преподавателя. Иванов-маленький развернулся, багровея, и зануда Пенкина прожгла линзами очков. Даже Иванов-большой выразил испуганный укор. Только Оля так же продолжала смотреть во двор за грязными стёклами окон.

– Здорово, – сказал Мишаня, когда аудиторию вновь заполнили монотонные звуковые волны лекции. – Как там в общежитии?

– Ночевать дома надо, – буркнул я.

А Мишаня, словно ждал этого, засвистел на ухо, какую «коровку» он отхватил и как она его обнимала и, одним словом, все соки выжала, и ему бы, Мишане, сейчас отдыхать после трудов праведных, а не сидеть здесь...

Он рассказывал с сальностями, побитое оспинками вытянутое лицо его самодовольно расплывалось, он получал наслаждение от воспоминаний о прошедшей ночи, в то время как я, видевший несколько раз его «коровок», следил за рассказом с брезгливым ужасом.

Вдруг он упёрся мне в бок чем-то твёрдым, я опустил глаза и отодвинулся: под правой лопаткой Мишани торчал нож...

Я устался на Иванова-большого, изучая его серенький мятый пиджачишко, который тот носил с первого курса, – подумал об этом ничего не значащем факте, лишь бы чем-то заполнить возникший вакуум непонимания.

Мы никогда не замечали, кто в чём ходил, пижонство было делом личным, а Иванов-большой приехал из глуши, и, похоже, в этой своей глуши он был лидером самого консервативного крыла. По сессионным порогам он проходил с тупорылой настойчивостью трактора, высиживая, выжимая, выдавливая «уды», девчонок не замечал и, как мне кажется, боялся. По вечерам после лекций и обязательных занятий в читальном зале усаживался в комнате у окна, и, положив голову на старую гармонь, выводил тягучие непонятные мелодии, пока в стену не начинали стучать соседи. Sensацией была его женитьба, хотя утверждать, что наличествовал акт бракосочетания, я не могу, мы увидели Иванова-большого с его любимой на прощальном банкете, это было подобно грозе зимой: шеренги столов качнулись в сторону длинноносой и плоской, с уродливо выпирающим животом, женщины, сидевшей рядом с лоснящимся гордым Ивановым-большим, но этот импульс любопытства был столь же краток, сколь и известие о том, что Иванов-большой добровольно выбрал самое неудачное распределение, хотя имел шанс на удачу: к пятому курсу ежедневные сидения в читальном зале принесли свои плоды – он заканчивал институт без троек. Мы лицемерно выпили за молодых и тут же о них забыли и не вспоминали до самого конца, не заметив, когда и как они ушли...

Как же его отчество, подумал я и стал перебирать, разглядывая сутулую серую спину с блёстками перхоти, пока не остановился на самом подходящем, как мне показалось: Виктор Георгиевич. Да, именно Виктор Георгиевич, мы же познакомились заново, совсем недавно, в министерстве...

...Мишаня перегнулся, вытянул жилистую шею в сторону воркующей Сёмкиной, поцал языком, и та жеманно отмахнулась: – дурак, повела плечиками так, что под кофточкой приоткрылась ложбинка, и Мишаня заржал, хлопнул себя широкой ладонью по губам, пригнувшись, побежал к двери, и сколько я ни вглядывался, ножа не увидел, а Сёмкина опять повернулась... Красивая, чуть полноватая дама с гордо вскинутой головой, одетая в модное платье, – прильнула плечом к спокойному высокому подполковнику, оглядела, словно оценивая, наши замызганные робы (и у меня не чище, чем у работяг, с начала аварии – в гуще дел).

– Выручай, полковник, – перекричал я рёв дизелей, авансом выдавая лишнюю звёздочку на погонах, размазывая по лицу маслянистую чёрную жижу и глядя на Семкину. – По-соседски подкинь техники...

Тот бросил взгляд, словно сфотографировал разорванную буровую, и бьющий фонтан, и оцепление, и застывшие бульдозеры, и застрявшие в болоте машины, вскинул командирские часы, и в эту минуту лицо Сёмкиной вдруг стало молодеть, глаза жалостливо сузились (она почему-то всегда жалела меня), она назвала моё имя и затараторила, хотя не было ни минуты времени, чтобы выслушивать её бредни, её восторги, её эмоции, воспоминания. Я перебил:

– Вы ошиблись... Так как же, командир?

И уже получив согласие, отходя, увидел прильнувшее к стеклу кабинки лицо Сёмкиной с раскрытым от удивления ртом...

...Что за странное сновидение...

Я ведь вошёл в аудиторию, поздоровался, опустился на своё привычное место, я вот он, осязаемый, реальный, из плоти и крови, и эта скамья, выдраенная тощими студенческими задами, – сама реальность, и это пространство аудитории... прошло столько лет, и если каким-то чудом кто и появится здесь, он должен быть в соответствующем возрасте... И не надо...

...Оля повернула голову, золото её волос опалило моё лицо... Ну повернись же, молил я, повернись, я хочу увидеть, какой ты стала, слышишь, я хочу...

...Димка передвинул листок с расчерченным квадратом, я надставил свое «с», и теперь к его «соколу» добавилось моё «скол»... скол породы, срез времени – это, в принципе, одна суть: время и материя... Теперь уже и Голубец вертелась юлой, поглядывая в нашу сторону, закрывая своей тенью золотой свет, который принадлежал только мне...

...Подполковник тогда нас здорово выручил, его техника явилась, как является резерв Верховного главнокомандующего в критическую минуту, и мы победили. По-фронтовому отпивая из фляжки, пущенной по кругу, чувствуя великое родство, стояли с ним у картины разрухи и созидания, а поодаль виднелась машина с Сёмкиной, всё ещё не верящей в то, что я не я, и я уже открыл рот, чтобы признаться, но помешал вертолёт, испуганное начальство, дела...

Господи, что же я блуждаю в потёмках, всё ясно как день: я попал в аудиторию, где сидят наши дети, похожие как две капли воды на нас самих... И никакого возврата в прошлое, время необратимо, и... А нож?..

– Тугодум, – прошипел Димка, ткнул ручкой в листок, прочертил невидимую траекторию. – Локон, пять букв...

Почему локон, Димка, это ведь плохое слово, вернее, его материализация в твоей бывшей жене. Я ведь тебе писал ещё тогда, когда ты, потеряв голову, увёз её из южного городка в свою забайкальскую степь, я предупреждал: это это не тот человек, что тебе нужен, Димка, остановись, а ты смеялся, ты упрекал меня в зависти и не верил, не хотел верить. Но долго ли ты был счастлив? Миг?.. И вечность страдаешь... Ты и по сей день хранишь её локон, – женщины, давно забывшей тебя, закружившейся в жизни праздной бабочкой и не пожелавшей даже родить тебе, смеявшейся, когда ты стоял перед ней на коленях, ты, Димка Слепнёв, тонувший, горевший, умиравший от укуса змеи, раненый в мирное время, умеющий управлять тысячами людей и нравиться им, понимающий их как никто другой, – тогда ты ничего не понял... Я всё хочу написать тебе об этом, но отделяюсь короткими телефонными звонками, традиционным «как дела?» и довольствуюсь твоим столь же традиционным «в порядке».

Завтра же возьму билет, и мы наконец-то поговорим по-людски...

...Нас разбросало по жизни. Вечная и естественная судьба всех поколений до нас и после нас. Но вот в этой аудитории разве допустимы были метаморфозы?.. Нас учили, и мы впитывали, что нам подвластна земная кора, она полна загадок и таинств, но мы-то все были как на ладони и жили не в прошлом и будущем, мы жили в материалистическом настоящем. Так откуда тогда – из настоящего, прошлого, будущего? – пятидесятилетний сморщенный и молчаливо соглашающийся претендент в кандидаты наук Митрофанов, которого при мне распекал директор НИИ?.. Откуда одинокая Пенкина, мужененавистница, стойчески выдерживающая жестокие выходки её студентов и плакавшая в своей пустой огромной квартире, куда я отправился в один из командировочных вечеров, случайно наткнувшись на неё в нашей (вот этой межэтажной) аудитории, исповедовавшись и покайся ей в собственной жестокости тогда, и сейчас, и в будущем...

Да отпустятся грехи наши...

Да простится Горностаеву чванство, пожалеем его, он тащит эту нелёгкую ношу за всех нас...

Иванов-маленький воровато оглянулся, кося глазом на преподавателя, метнул бумажный шарик в Олю, и я напрягся, впился глазами в её светлый профиль, но она небрежно смахнула записку на пол, под ноги преподавателя, и Иванов-маленький неожиданно быстро выкатился из своего ряда, схватил записку, замер на своём месте в обычной позе полного внимания, и повернувшийся Корнилов-Селезнёв ничего не заметил или сделал вид, что не заметил... Как не замечал наш капитан, командир роты на учебных сборах, частых отлучек Иванова-маленького домой (лагерь был на окраине города, где он жил), и долго мы ломали голову, пока Мишаня не просветил. Он поднял нас за полночь, подгоняя, сонных и злых, пинками, заставил кружить по лесу, пока не вывел к маленькому озеру, к костру, подле которого мы и увидели нашего капитана, Иванова-маленького, двух развесёлых женщин и скатерть-самобранку, которая в нашей курсантской жизни казалась верхом мечтаний.

Женька облизнул губы, прошептал:

– Стырим пожрать, зря, что ли, тащились...

Димка отвернулся, потянул меня за гимнастёрку:

– Пошли, что вы как дети...

– Ну, лиса, – прошипел Мишаня, – этот при всех режимах выживет.

И, подобрав сосновую шишку, запустил её в Иванова-маленького.

Шишка попала капитану в грудь, он вскочил, шагнул в нашу сторону, и я услышал неожиданно злой шёпот Мишани.

– Я первым ударю. Морды не засветите.

Но ни подрагаться, ни поесть нам не удалось: затрещали сучья, и в свет костра вышел маленький круглый человечек, поразительно похожий на Иванова-маленького. Только ещё меньше ростом и гораздо шире. Он опустил ведро, и капитан, женщины, наш Колобок ринулись к нему, выхватывая за жабры бьющихся лещей. Димка потянул всё рвущегося вперёд Мишаню. Женька Сухоруков тогда первый раз застонал от боли, которая позже, в последние дни его жизни уже не ослабевала ни на минуту, но он крепился, пытался улыбаться, планировал, что сделает, когда выздоровеет, успокаивал жену и благодарил за то, что я не забыл, нашёл время приехать...

– Женька! – Я упёрся лбом в Женькин лоб, ощущая его тепло и даже слыша, как в его виске стучит кровь. – Рванём после лекции в кино?

– Куда?..

– А куда-нибудь... Только... Ольгу пригласи, а?

Я уткнулся в листок, выискивая слово, в котором было бы побольше букв, но всё-таки не удержался, взглянул на красивое и спокойное лицо Сухорукова. Я завидовал ему и удивлялся. О любой из его знакомых девушек мы могли мечтать, но ни одну из них он не выделял, не переживал слёзы очередного признания-разрыва, он верил, что будет счастлив, и был счастлив...

– Колобок, – произнёс я и тут же опомнился: не прозвучит ли оскорблением студенческое прозвище спустя столько лет? Кто знает, кем и каким стал Иванов-маленький, настырно пытающийся перейти мне дорогу и объявивший ещё на первом курсе, что Оля обязательно будет его женщиной...

Записочная эпидемия стала разрастаться – верный признак, что близится к концу последняя лекция. Из-под руки, не оборачиваясь, выстрелила бумажным шариком Наташка Голубец, и её шарик попал мне в щёку, я медленно развернул его, выражая полное презрение к этой игре и стараясь не упустить из поля зрения Олю.

Наташка приглашала в театр...

Я пошёл тогда в театр, хотя сначала отказался – вместе с Женькой и Олей мы собирались в кино. Я волновался, ожидая Олю. А Женька лежал на кровати, закинув руки за голову, и размышлял вслух, к кому бы из девочек сегодня сходить на ужин, когда она вошла. Я слишком суетился в молодости, по-видимому из-за какого-нибудь комплекса, и слишком торопил события.

И когда они ушли вдвоём, Женька с выражением полного непонимания, а Оля радостно (так мне показалось), я проклял свою трусость, ревность, свою лжеблезнь и ворвался к Наташке без стука, застав её торчащей в купальнике перед зеркалом, и даже не смутился от её визга, а лишь отвернулся к стене, ожидая, пока она оденется. И мы пошли в театр, А ты ведь красива, Наташа, Наталья Гавриловна Проскурина...

И почему раньше я этого не замечал?

Или, может быть, женщины становятся красивее с возрастом?

Только с чьим возрастом, моим?..

После театра мы с тобой целовались, и ты удивлялась моей смелости, ты была счастлива, ты меня любила... И тогда, и потом... Ты так меня любила, что я сбежал от тебя сразу же после нашей свадьбы, а ты очень хотела, чтобы у тебя был мой ребёнок... Но у нас ничего бы не получилось, даже если бы он появился... Я уехал тогда искать Олю, я поехал увозить её от мужа, но так и не нашёл, не увёз...

У тебя хороший муж, ты счастлива, твой сын будет прекрасным геологом, это я тебе говорю, начальник управления, научившийся за эти годы отделять зёрна от плевел... На старости лет мы с тобой ещё порадуемся внукам, неторопливо погуляем по скверику, и, может быть, тогда ты мне расскажешь об Оле, ведь у меня всё равно не будет сил, чтобы полететь к ней...

Но вот я сегодняшний, – я люблю тебя ту, гладко причёсанную и говорливую, хотя ты не можешь соперничать с Олей...

Влетел Мишаня, плюхнулся рядом на скамью, больно задев бок чем-то твёрдым, и я вспомнил о ноже... Об этом самодельном окровавленном ноже, оборвавшем жизнь самого бесшабашного из нас.

– Старичок, – прошептал Мишаня, – ключ у тебя? Давай, подамся я спать.

Я протянул ключ.

Он подкинул его на ладони, оглядел аудиторию и во весь рост вышел, уже не таясь.

...Вот и тогда, как мне рассказывали, он, за четыре часа до этого бродивший по хрустящим якутским снегам и теперь ошалевший от весенних запахов, удачливый северянин в шубе и унтах не по сезону, с «дипломатом», в котором лежало обещание красивой жизни, о которой он всегда мечтал, шёл через сквер перед аэровокзалом, к своей очередной «коровке» (он и при людях называл их так, но они любили его, как это ни парадоксально), говорят, шёл, чтобы сказать наконец, что увезёт единственную достойную его (для этого и отпросился на недельку), шёл по городу, где прошла его юность, не боясь ничего, потому что всё здесь было родным и безопасным, и когда нож вошёл ему в спину, он сразу даже не понял, что это, и бросил, не оборачиваясь: «Кто там шутить вздумал». А когда рванули «дипломат» Мишаня, уже зверея от боли, развернулся, выкинул вперёд руку, натруженную двухсоткилограммовыми буровыми «свечами», подцепил тонкую шею убийцы, и, падая, подмял под себя, так что подъехавшие милиционеры прежде бросились спасать того, пока не увидели нож...

И вот ты, Мишаня, заставивший мать похоронить тебя, уходишь спать.

Может быть, ты жив не только в этой аудитории, но и за пределами её тайны...

Но ты ушёл, а я остался.

И Женька ушёл, он всегда следом за тобой выходил из аудитории, хотя никогда не торопился, как ты, но почему-то всегда получалось именно так.

Потом выходила...

Неужели в этом тоже есть закономерность?..

Нет, это чушь, это мистика, а мы реалисты, и всё в прошлом, и в настоящем реально, как эти серые стены и старая арка, как реальна моя Валентина, которую я нисколько не ревную к Женьке, я хожу к нему на могилу вместе с ней, и наши сыновья, его и мои, – это мои дети, и я люблю его так же, как любила Валентина. Потому что ревновать глупо и стыдно.

Но всё-таки я хочу спросить Олю, как сложилась её жизнь, ведь ради этого я и пришёл сегодня в аудиторию. И она выпустит меня отсюда к моим привычным делам и заботам, к моим болезням и огорчениям, к моей семье и к моим радостям – словом, к жизни.

Выпустит, если я... не спрошу Олю...

Кто написал на доске об этом?

Почему на меня так смотрят?

Почему вы повернулись ко мне, ведь лекция ещё не закончена, звонок не прозвенел?

И чего ждёте от меня?

А если я спрошу, что изменится в моём бытии?..

...Оказывается, на улице давно рассвело. В огромной машине института – тишина. Я ещё раз оглядываюсь и медленно иду к горизонту...

К пробуждению.

Пять дней в сентябре

5 сентября. **Ночь**

Проснулся Коробов от тишины. Она была так обманчиво похожа на другую тишину, что он воочию увидел остывающие угли, белеющие линии удилиц, спохватился, что надо бы разжечь костёр, вскипятить чай, а то можно и так, не сдерживая нетерпения, рвануть к перекату, закинуть удочку под первый, облюбованный издали камень, в пенный круговорот подвести мушку.

Обойдусь без чая, решил он, и вдруг что-то в этой тишине показалось ему странным. Он открыл глаза.

Над головой матово отсвечивал потолок вагончика, свет от лампочки, висевшей на столбе за окном, пронизывал красновато-жёлтым лучом.

Почему тихо, подумал он, и, словно подслушав его мысли, забубнил один дизель, потом другой...

Коробов повернулся на бок, упёрся коленками в холодящую стену, собравшись вернуться в приятный сон, но что-то в звуке работающих дизелей его насторожило.

Он сел. Нашупал сапоги, портянки. Намотал их, всунул ноги в холодную кирзу.

На верхней полке зашевелился студент, свесил голову:

– Что, пора уже?

– Спи, – сказал Коробов. – Ещё рано.

Студент облегчённо вздохнул, отвернулся к стене, задышал ровно и глубоко.

Коробов вышел на улицу.

Вышка светилась в ночи праздничным треугольником, и отсюда, от вагончиков, казалось, что там всё спокойно. Глядя на вышку, на бледнеющие звёзды, он достал папиросы, прикурил. Смотрел и курил. Хотелось верить в лучшее, но дробящийся звук, застывший элеватор оставляли всё меньше и меньше надежд. Он уже не сомневался, что Ляхов тянет на пределе. Стоит, упёршись ногами в дрожащий металлический пол, немеющими руками сжимая рукоятку тормоза лебёдки, не сводя глаз с дёргающейся стрелки. Деление – тонна. Одна, вторая, третья...

Дизели взревели и смолкли. Ровно постукивал только один из них, дающий свет и тепло.

В проёме буровой показался Ляхов.

Он начал спускаться по лесенке, но на середине остановился, и Коробов увидел, как от крайнего вагончика отделилась сутулая фигура мастера. Петухов шёл не спеша, словно ничего не случилось, шёл так, как всегда ходил по площадке: не поднимая от земли глаз и при этом умудряясь всё видеть. Он поднялся на помост, остановился, и Ляхов стал объяснять, как случился прихват, на каких режимах работал. Коробов знал, что сейчас Ляхов воздаст и ему за то, что не поменяли днём канат, хотя менять надо было позарез, да уж так шло долото, набирая метры проходки, что не удержался он, опустил инструмент в забой на старом канате.

Обозлился на Ляхова, понимая, что злиться надо на себя, и направился к вышке. Сначала он шёл быстрым шагом, потом поубавил, рассудив, что Ляхов ещё долго не стихнет, а слушать его сочные многоэтажные матюки желания не было. Тем более сейчас, когда между ними чёрная кошка пробежала. И повздорили-то из-за пустяка, практиканта. Студент был сначала в вахте Ляхова. Видел Коробов, как тот почём зря гоняет практиканта, учит уму-разуму. Бог с ним, пусть бы учил, порой это на пользу, а то ведь такие инженеры вылупляются, с какого бока к буровой подойти, не знают, так что в принципе Коробов был не против учения, но только не такого. Вот и не выдержал.

Остановил парня, когда тот бежал в вагончик за папиросой (Ляхов наказывал приносить только по одной папиросе, не больше, чтобы не сырели на буровой), и повёл к Петухову.

– Пусть у меня работает в вахте, – сказал он.

Мастер оторвался от рации, помолчал, разглядывая покрасневшего практиканта, перевёл взгляд на Коробова, буркнул:

– Обрато отпрать захочеш – не разрешу.

– Ладно, – подтолкнул парня в спину Коробов. И выйдя следом, приказал: – Переодевайся, отдыхай. Пойдеш в нашу смену.

– А как же... – Тот замялся.

– Я сам скажу Ляхову.

– Тут ещё папираса.. – студент протянул «беломорину».

– Выбрось, – сказал Коробов и пошёл на буровую...

Ляхов выслушал Коробова улыбаясь. Потом сплюнул, выдернул из замусоленной пачки Цыганка папиросу.

– Больно ты того, образованный стал, – гоняя папиросу во рту из угла в угол, прогремел он. – Сам учить хочешь?.. Ну, учи-учи, педагог... Соплишки ему высмаркивай, а он тебе через два года на шею сядет, отыграется. Чо жалеть-то?.. Пока ты сверху – пользуйся. Точно, Цыганок, а? Цыганок рассеянно улыбнулся, махнул рукой:

– Я это, поглядеть надо, что-то стучит там... – И побежал к дизелям.

– Ну ладно, – зло сказал Ляхов. – Бери сопляка, мне легче будет, а то вроде и есть помбур, и нет его. Законного требовать буду. Но учти, друг, мне это не ндравит-ся, – по слогам выговорил он.

– А мне твоё «ндравится – не ндравится» знаешь до чего?.. – Коробов еле сдерживал себя. – Вот так-то, друг...

Студент стал работать в вахте Коробова. Был он парнем неплохим, бойким, схватывал всё на лету. Ляхов презрительно поглядывал, но молчал. Может быть, со временем эта ссора забылась бы, если б не мешала память о давнем разговоре. Тогда Ляхов только появился на буровой. В первую заездку показывал «фирменный» класс работы, после чего Коробову пришлось раньше срока менять канат. А по дороге домой Ляхов заявил, что в Якутии, где он до этого «трубил», он «делал деньги», а вот тут пришла пора орден «заиметь».

– Моё слово, получу!.. А ты что, бурило, ещё не повесил на грудь, зажимают?

– Зачем он мне. – сказал Коробов. – Разве это главное в работе, в жизни?..

– Чудила ты... А что ж, по-твоему, главное?.. На этом да на вот этом, – Ляхов пощёлкал пальцами, – мир стоит. За последнее всё что захочешь иметь будешь, а почёт тебя над людьми поднимет. Это немаловажно, где ты: выше или ниже. Ты со мной не темни, я говорю откровенно... Ты ведь думаешь так же, только боишься вслух сказать.

– Брось трепаться. На поезд опоздаем...

Ляхов пытался ещё что-то рассказать, но Коробов не слушал. Ему было неприятно. И почему-то стыдно...

Три года Ляхов «давал» метры. Ордена он, правда, не заработал, но из передовиков не выходил. На Доску почёта управления портрет повесили, премии получал исправно, в президиум выбирался. Но только с того вечера старался Коробов с ним меньше встречаться. Видел, как делались эти рекордные метры. Даже на другую буровую уходить собирался, да Петухов уговорил подождать...

Ляхов, кажется, успокоился, затопал вслед за мастером.

Тот постоял перед приборами, обошёл ротор, махнул рукой Цыганку и взялся за рычаг тормоза лебёдки. Цыганок включил дизели, тишина разорвалась, унеслась в распадок. Коробов присел на сложенные рядом с помостом трубы, поглядывая то на поднимающееся солнце, то на налётшего на рычаг Петухова. Элеватор дрожал, как пуговица на резиновой нити. У младшего Коробова теперь такая игра: резинку в дырочки пуговицы пропускает, потянет за концы, а пуговка бесится...

– А вот и виновник торжества, – Ляхов чертыхнулся. – Из-за него прихватило. Не канат, я бы в три счёта вырвал...

– Ладно, кончай митинговать, – остановил его Петухов. – Кто виноват, с того спрошу сам. Сколько времени-то? – Он вскинул руку. – Ого, шестой. Что ж ты не спишь, Васильич? Ещё час законный... А ты, Виктор, не гоношись, не пугай дичь, и так всю распугали. Пойди-ка проверь ёмкости, задвижки, сдашь вахту в таком виде, чтобы после замены каната промывочную жидкость готовить начал.

Петухов повернулся, словно не замечая недовольства Ляхова, пошёл в дизельную. Помедлив, следом шагнул Коробов. Ляхов сплюнул, проводил взглядом его спину.

...В Якутии первым учителем Ляхова, тогда ещё салажонка, был Крутов. Мужик крепкий, ладный, всегда чисто выбритый и улыбающийся, он никак не походил на уголовника, но на буровую пришёл, отсидев шесть лет за какие-то махинации. Работать Крутов умел, начальству нравился, и Ляхов тогда привязался к нему. Научился так же энергично рубить слова, обещать твёрдым голосом, глядя прямо в глаза. Научился, если что надо, доставать из-под земли, не брезгуя ни уговорами, ни взятками, ни угрозами. Одним словом, школу он, как потом понял, прошёл неплохую. Пригодилась она ему в армии, где через два месяца он умудрился перейти в офицерскую столовую на раздачу. Там и прослужил два года. Вернулся на буровую и без угрызений совести оттеснил Крутова, вывел свою вахту в передовые, стал гнать бешеный процент. Даже Крутов сначала не мог его раскусить, а когда наконец понял и пришлось с ним делиться, Ляхов переехал на новое место...

– Устин! – крикнул Ляхов.

Из дизельной вышел первый помбур. Прошёл к лебедке, снял с кожуха верхонки, посмотрел на Ляхова.

– Чо смотришь? – сорвался Ляхов. – Чо ты как рак вылупился?..

Опять грелся, опять поясница ноет, а я тут за всех вкалывай! Где верховой?

– Наверху, – спокойно сказал Устин. – Спит, поди.

– Так буди его! И уберите всё лишнее возле лебёдки, сменщик канат менять будет.

Устин стал подниматься наверх, а Ляхов пошёл к ёмкостям. Длинной рейкой тыкал в маслянистую жидкость, скрежетал зубами. Было ясно, что их вахте придётся готовить раствор, таскать мешки, бегать по этим чёртовым ёмкостям, а Коробов только канат сменит. Чистоплюй... Ляхов выругался. Но вдруг вспомнил, что ещё два месяца – и всё останется в прошлом. И что не Коробов, а именно он, Ляхов, едет работать в Сирию. Сколько желающих было, а вот утвердили его. Ляхов это сознавал, он ценил оказанное доверие и радовался, представляя, как будет возвращаться через два года обратно на «Волге»... Ту самую малость, которой не хватает, там и доберёт. А то, гляди, ещё и орден заработает... От этих мыслей он повеселел. Стоя на металлическом мостике, перекинутом через ванну, представил, как проедет по Сосновке, загорелый, приодетый, поблёскивая новенькой «Волгой» и новеньким орденом: знайте Ляхова и уважайте.

Только размышлял, как увидел подходившего верхового.

– Выспался, – многозначительно произнёс он. – Бурило вкалывает, а верховой дрыхнет на потолке, совести ни на грамм.

– А ты не шуми, – Женька Зотов потянулся, зевнул. – Каждому своё.

Тебе вот ругаться нравится, мне – спать...

Так хотелось Ляхову осадить верхового, но, встретив взгляд наглых Женькиных глаз, побоялся. Однажды он уже пытался проучить того по своему разумению, а вечером, возвращаясь с реки, где проверял «морды», столкнулся с Зотовым на тропе. Тот стоял на дороге, сжимая в руках мелкашку. Ляхов остановился, что-то не понравилось ему в позе верхового. Он вспомнил, что Женька недавно вернулся из лагеря, где отсидел срок немаленький. Верховой вскинул винтовку, пуля ударила в пень рядом с Ляховым.

– Ставь коробок, – хрипло сказал Зотов. – Ставь коробок на пень, кому говорю...

– Ты чо, паря? – сделал шаг вперёд Ляхов, и вторая пуля взбила фонтанчик пыли перед ним.

– Ну...

Трясущимися руками Ляхов поставил на пень коробок и не успел отойти, как раздался сухой щелчок выстрела и коробок отлетел в сторону.

– Запомни, бурило, – не опуская винтовки, произнёс Зотов. – Запомни на всю жизнь: Женьку обижать нельзя. Обидишь – предупреждать больше не стану...

Ляхов ещё раз оглядел жилистую фигуру верхового, выражавшую полнейшее равнодушие.

– Ладно, мы с тобой ещё поговорим. – Он бросил рейку. – Иди буровую помой...

Женька облокотился на поручни, уставился на гладкую поверхность раствора, застывшего в ваннах.

Оставшись один, он долгим взглядом проводил уходящего Ляхова, и шрам на его лице от подбородка к нижней губе подрагивал, выдавая напряжение.

Ляхов спустился с буровой, зашагал к вагончику мастера, но потом круто развернулся и вошёл в столовую.

Женька ещё раз потянулся, крикнул Устина. За полчаса, оставшиеся до конца смены, надо было привести буровую в порядок.

5 сентября. День

Петухов и Коробов доедали рожки с мясом, когда в столовую вошёл Ляхов. Прошёл в угол, сел за отдельно стоящий столик, на который обычно составляли грязную посуду.

Петухов отодвинул тарелку, постучал пальцами по столу. Повариха подала компот.

– Спасибо, Татьяна. А Ляхова кормить не собираешься?

– Сейчас, Петрович, накормлю.

– А что ты обо мне, Иван Петрович, беспокоишься? – не оборачиваясь, бросил Ляхов. – Я ведь не девка.

– Да и я не парень, – отрезал Петухов. – Всё сделал?

– Как всегда.

– Вот и ладненько... Пойдём, Фёдор Васильевич, поглядим.

Хлопнула дверь, и Ляхов круто повернулся. Татьяна покачала головой, поставила перед ним большую тарелку с рожками.

– И ты меня не уважаешь? – спросил Ляхов, придерживая её за руку. – Как что, так Ляхов вперёд, а как правду говорит, так неугоден.

– Что же ты такого сказал? – Она поглядела в окно.

– А сказал мастеру, что Коробова гнать надо.

– И он с тобой согласился?

– Куда там. Они же приятели. Я, говорит, за Коробова двух Ляховых отдам. Видала? Ляхов – передовик, гордость экспедиции – его не устраивает, а какой-то там средний бурильщик устраивает.

– Пусти, – сказала Татьяна, убирая руку. – Устин идёт.

Она быстро прошла к плите, наложила новую порцию и, когда Устин вошёл, уже ставила тарелку на стол, за которым до этого сидели Петухов с Коробовым. Устин кивнул, молча стал есть, аккуратно поддевая на вилку рожки.

Нависло тягостное молчание.

Татьяна достала тарелку из кастрюли с горячей водой, стала протирать. Тарелка выскользнула, разбилась. Ляхов ногой отодвинул осколок.

– На счастье.

Татьяна подобрала осколки.

Принесла Устину компот.

– Добавить? – присела рядом с ним.

– Не за что ему, – с раздражением произнёс Ляхов. – Не заработал твой муженёк. – Он поднялся. – Чо молчишь, Устин? Опять спишь, чо ли?

Устин обхватил мозолистыми ладонями кружку с компотом.

– Иди отдыхай, – сказал он Ляхову. – Иди, не порть людям настроение.

– Я-то пойду. – Ляхов остановился на пороге. – Терпеть не могу молчунов...

Дверь распахнулась, и в столовую вбежал студент. За ним вошёл Лёша.

– Куда прёшь, – Ляхов стал у него на пути. – Ты бы, Правдоискатель, научил будущего инженера культуре, чтоб не налетал на людей.

– Злой ты человек, Ляхов, – Лёша отодвинул его плечом, повернулся к студенту: – Проходи, Анатолий.

И этот тоже, зло подумал Ляхов, и этот чокнутый на Ляхова замахивается.

Он окинул крепкую Лёшину фигуру, плечи, натренированные многолетней работой: нешуточное дело каждую смену ворочать двухсоткилограммовые «свечи».

Выходя, Ляхов поймал напряжённый взгляд Устина. Положив на стол серые от раствора руки, тот глядел ему вслед узкими, словно бойницы, глазами. Ляхов хлопнул дверью, отсекая этот взгляд и стараясь забыть его, понимая, что в таком настроении ему лучше всего сейчас завалиться спать, но ноги сами тянули на буровую, он хотел высказать Коробову всё, что говорил утром Петухову. Стал подниматься на помост, но увидел мастера у лебёдки и передумал, пошёл отсыпаться...

Устин подвинулся, Лёша и Анатолий сели с ним рядом.

– Прихват? – спросил Лёша.

Устин кивнул.

Вошёл Женька, сел за соседний стол.

– Татьяна Львовна, двойную, соответственно комплекции...

– Ляхову тогда четыре порции есть надо, – заметил Лёша. – По комплекции, но не по справедливости...

– Только не философствуй, Лёша, погоди, – поморщился Женька, – аппетит перебьёшь.

Лёша не обиделся. Он ни на кого не обижался. И хотя давно уже вышел из того возраста, когда называют только по имени, гладкое лицо, круглые глаза, выражение доверчивого внимания мешали определить его возраст. Он относился к той категории людей, которые всё делают невпопад, не понимая этого, удивляя наивностью, и к которым, как правило, обращаются либо по имени, либо по прозвищу.

Чудачеством выглядела и его неразборчивая отзывчивость. Он вечно ходил к начальнику экспедиции, чтобы похлопотать за кого-нибудь насчёт квартиры, детского садика или талона на дефицитные товары.

Сначала его выставляли из кабинетов, потом просто перестали впускать, но это его нисколько не огорчало и желания помочь другим не убавляло. Правда, раскусив, что Лёша не тот таран, которым пробивают двери, многие перестали к нему обращаться, и всё же на каждом отчётно-выборном профсоюзном собрании кто-нибудь из новичков обязательно предлагал его в состав комитета, но при голосовании Лёша никак не попадал в выборные органы и нисколько от этого не расстраивался.

– Татьяна Львовна, компотик двойной. – Женька довольно откинулся. – Вот теперь можно и потрепаться. Как, инженер, а?..

– Спасибо, Татьяна Львовна, – сказал Анатолий.

– На здоровье, Толя, поправляйся.

– О, поправляйся... Жалеют тебя... А через два года станешь мастером или помощником мастера и начнёшь дрова ломать... – не отставал Женька.

– Это ты так считаешь, – вступился Лёша.

– Из опыта исхожу... Ты, студент, у Петуха учишься. У него никаких институтов, семь классов да курилка на курсах повышения квалификации, но он главного инженера за пояс заткнёт.

– Что же он тогда, чуть какая авария, мастера или инженера вызывает?

– Э-э, студент, чему вас только учат... Петух – мужик хитрый, тёртый, битый. Устин, подтверди.

Устин кивнул.

– Петух не дурак шишки получать. Он начальство вызовет, будет советоваться да своё втихаря отстаивать, и так это подаст, что те за своё примут – и, если что не так получится, неожиданности разные, с них спрос...

– А как же совесть?

– Ребёнок, – Женька усмехнулся. – Начальство только так и надо учить. Теория – это блеф, студент, соль – в практике. У нас в зоне мужик сидел, золотые руки. Он тебе что хочешь сделает, ручку, ножичек с пружинкой, часики, игрушку заводную... Между прочим, замки для начальства всякие разные делал, на гаражи, на дачи... Пять классов и три десятка сейфов – вся школа...

– Удивил. Если б он самолёт построил...

– Фантазёр ты, студент...

– А инженеры, между прочим, строят.

– Эти инженеры – не вам чета...

– Толик прав, – сказал Лёша. – И ты, Жень, по-своему прав. Оба...

Вот в этом парадокс...

– Кстати, о парадоксах... Совсем забыл, Коробов просил вас поторопить.

– Что же молчал? – Анатолий пошёл к выходу. – Специально? Так Коробову и доложим.

– Давай. Чужое начальство мне что белый медведь айсбергу. Можешь так и передать.

...Обойдя буровую ещё раз и посмотрев, как Коробов с помбурами меняет канат, Петухов вернулся в вагончик. Развернул на столе схему разреза скважины. Вздыхнул: тяжёлая скважина, лет семь таких не было. Взглянул на часы, включил рацию.

– База, база, я ЭР-7. ЭР-7 вызывает базу.

Он отпустил клавишу. После шуршания и свиста в трубке наконец щёлкнуло, и усталым голосом главного инженера Безбородько она сообщила:

– ЭР-7, вы сегодня первые. Давайте с вас и начнём. Чем порадуете?

– Скорее огорчу, Владимир Владимирович. Прихват на три двести сорок два метра.

В трубке стало тихо.

Петухов слышал, как кому-то там, у себя в кабинете, главный инженер говорил скороговоркой: «идии-идии», а может, что-нибудь другое, потому что он слышал только это многократное «и».

– База, – сказал он.

– Слышу я, слышу, – отозвался главный. – Вот так всегда, если с утра хорошее настроение, спешат испортить, плохое – хуже сделать.

Ну, что ещё скажешь? Мёртво?

– На полметра ходит.

– Давно?

– Часа четыре.

– Спишь там, что ли, мастер?

Главный заводился. Петухов знал, что в таких случаях перечить и обижаться не следует. Переждав, пока тот изольёт душу в крепких выражениях, он врезался в паузу и, не останавливаясь, начал перечислять, что сделано.

– Прихват в смену Ляхова. Пытался вырвать, но ничего не получилось. На канате износ...
– Он помолчал, износ был на пятнадцать процентов, и скажи об этом главному, выговором не отделаешься. – Износ семь процентов, нагрузку большую давать нельзя. Меняем канат, готовим раствор и ванну.

– Всё у тебя?

– Всё.

– Ждёшь, пока прилечу?... Ладно, Петухов, ты без надобности ничего не придумывай, мне вашей самодеятельности и так хватает. Тут вот на пятнадцатой умудрились алмазное долото в скважину упустить, сегодня к ним полечу, а завтра к вам. Только гляди, чтоб без инициативы, сам знаешь, какая у тебя вышка.

– Укрепили же, Владимир Владимирович...

– Ты мне про ходули эти и не напоминай, – закричал Безбородько. – Ты этими спичками комиссии вводи в заблуждение, а я знаю, на что они годны. Понял?... Запомни, Петухов, вышку завалишь – под суд пойдёшь, всё. Я тебе тянуть запрещаю.

– Понял, Владимир Владимирович. До связи.

– И ещё, – трубка пошипела помехами, потом заговорила усталым голосом главного. – Если там вдруг неожиданно отклеится, ты сразу сообщи, я инженера у рации посажу. До связи.

Хитёр старик, выключая рацию, подумал Петухов. Вроде бы и запретил крепко-накрепко, а и намекнул, что жду, чтобы сами выкрутились.

Он прилёг на кровать, положив ноги в грязных сапогах на ящик, стоящий у рации, закрыл глаза. Полжизни эта ЭР-7 у него забрала. На двухсотом метре – водоприлив бешеный, пять дней задавливали, на девятисотом – поглощение. На полутора тысячах – кварцы. Потом прихваты пошли... Восемь месяцев уже сидят на одном месте. На две девятьсот – газ, ну, думал, всё, кончились мучения. Геофизики забегали, начальство прилетело, превентера проверили, а через полметра всё кончилось. Прибыл спец по нефти из НИИ. Походил, понюхал, будет, говорит, нефть, но на три чetyреста. А вышка-то на три тысячи рассчитана, вот и приделали ей ходули, чтобы крепче стояла...

Коробов, конечно, виноват: поменял бы канат, Ляхов рванул посильнее, глядишь, и не было бы прихвата...

Но и Ляхова поддерживать он не хотел. Считай, полжизни люди на буровой проводят, тут все как на ладони, и плохо, когда не ладят друг с другом...

Ничего, пару месяцев осталось потерпеть, уедет Ляхов в Сирию, а он бурильщиком Устина поставит. Давно присматривается. Молчит тот, молчит, а дело знает.

– Товарищ мастер, пошёл! – ворвался в вагончик студент.

– Кто пошёл?

– Инструмент.

– Сменили канат?

– Сменили. Фёдор Васильевич потянул, и он пошёл.

– Хорошо.

Анатолий убежал.

Петухов включил рацию. Подержал в руке трубку, положил на место. Лучше подождать, нежели поспешить – это правило, которое не стоит нарушать. Он вышел из вагончика.

Солнце уже поднялось довольно высоко, небо было чистым, без облачка. Стоял один из последних тёплых дней бабьего лета здесь, на Севере. Воздух был прозрачным, и тайга прозрачной, в ржавых пятнах редких оставшихся листьев, в ней хорошо сейчас охотиться на боровую дичь. Да вот только времени за последний месяц у него совсем не было, хотя охотиться любил и, если не удавалось отвести душу, тосковал и томился этой тоской по охотничьим тропам.

Пока он шёл к буровой, серая от промывочной жидкости колонна труб медленно ползла вверх. Петухов видел, как Лёша-Правдоискатель метнул в сторону свечу, и элеватор ухнул вниз, замерев лишь у самого пола: над лебёдкой поднялось облако дыма. «Спешит Коробов», – подумал он.

Коробов потянул вверх новую свечу, она вибрировала, шла неохотно, и Петухов понял: правило железное – не торопиться... Когда он поднялся на буровую, свеча уже не шла.

– Сколько протащили? – спросил Петухов.

– Метров двадцать пять.

– А давал?

– В полтора раза.

– Сто тридцать тонн... До ста пятидесяти, пожалуй, можно... Гони всех с буровой, – сказал он. – И сам тоже иди...

– Не дури, Петрович, – сказал Коробов, когда возле лебёдки они остались вдвоём. – Я глядел эти подпорки, швы слабые...

– Знаю. Все ушли?

– Да.

– Дизели?

– В норме. За канат ручаюсь.

– А ты на всякий случай не ручайся.

– Иван, сколько мы с тобой аварий перевидали?

– Не задавай пустых вопросов. – Петухов окинул взглядом приборы, включил лебёдку, сжал рукоятку тормоза. – Давай, Федя, скажи мужикам, пусть подальше отойдут, не в цирке. И стань в проёме, чтоб я тебя видел. Глаз не спускай с подпорок, понял? Если что, дай знать.

Коробов пошёл к лестнице.

Петухов прав, думал он, рисковать порой надо, но рисковать имеет право каждый только собой, и нет ничего, что можно было бы противопоставить цене человеческой жизни. Её одной не стоят ни тысячи, ни миллионы рублей, вложенных в эту буровую, на риск нельзя провоцировать, но иногда человеку самому необходимо проверить себя, пойти на риск, очиститься им, и в эту минуту он верит только в успех, в своё бессмертие...

Коробов тоже когда-то рисковал. Было это лет двадцать назад. При монтаже стала заваливаться чуть приподнятая вышка, все бросились врассыпную, а он вскочил в кабину трактора, полез под падающую громадину, натягивая тросы, задержал это падение, которое могло быть последним, что он видел бы в этой жизни. О нём написали в газете, его поздравляли, расспрашивали, что заставило так поступить, тем самым склоняя заглянуть в себя, задуматься, а что же заставило... И оказалось, что ничего из того, о чём часто пишут. Он не думал о людях, которые могут погибнуть, не думал о тысячах рублей, выброшенных на ветер, не думал о том, что пропадёт вложенный в буровую труд многих людей. Просто показалось, что если рвануть трактор, то вышка не упадёт, это было как в азартной игре, и это толкнуло его в кабину...

– Отойдём подальше, – сказал он Анатолию и Лёше-Правдоискателю.

– Фёдор Васильевич, это опасно? – Студент смотрел на него, не ожидая никакого ответа, кроме одного, и, чуть улыбнувшись, Коробов кивнул.

Он поднялся на помост, где лежали запасные свечи, встал так, чтобы его видел Петухов, поднял руку, показывая, что готов, и стал смотреть на одну ногу, ту, где шов, соединяющий её и подпорку, порвался.

Петухов включил лебёдку, но дизели не взвыли, и Коробов понял, что мастер попытается погонять инструмент по скважине, раскатать его, прежде чем тянуть.

Элеватор пошёл вверх, потом вниз, снова вверх. Он напоминал огромный неповоротливый челнок, с каждым разом вытягивающий серую от стекающего раствора колонну труб на несколько сантиметров больше, потом вдруг наткнулся на что-то и задрожал. Коробов, забыв

о вышке, отметил: элеватор разорвал неяркое осеннее солнце, превратив его в два раскалённых слитка, и тут взвыли дизели; он опустил глаза, но в них плыли тёмные круги, и ничего не было видно. Коробов испугался, потому что сейчас невольно мог стать убийцей. Он испугался и собрался закричать, предупредить остальных, но тут чернота рассеялась, и он увидел дрожащую металлическую колонну. Петухов держал рукоятку тормоза вверх, и Коробов знал, что сейчас всё, с самого верха, с крон-балки, до самого низа, до того места, где земля всасывает в себя металл, пронизано невообразимым напряжением, всё вытягивается, болезненно стонет, рвётся...

Он взглянул вверх – колонна ползла, но порадоваться не успел, потому что в следующее мгновение увидел, как медленно стала выгибаться подпорка, и вскинул руки. Тут же завизжали тормоза, исчезла в дыму фигура Петухова, дизели стихли.

Он поднялся на буровую.

Петухов сидел на перевёрнутом ведре из-под графитной смазки и мял в руках папиросу, не замечая, что несколько изломанных папирос уже лежат на полу, наконец поломал и эту, выругался. Коробов достал «беломорину», прикурил и отдал Петухову.

– Тяжело... – хрипло сказал мастер. – С непривычки рычаг как двухпудовка.

Замолчал.

Коробов тоже закурил и почувствовал, что напряжение Петухова передалось и ему. Мелкой дрожью оно осело где-то внутри. Он глотал горький дым в надежде, что этим избавится от дрожи.

– Пошла? – тихо спросил Анатолий, не спуская глаз с Петухова, и Правдоискатель, закончивший осмотр буровой, ни к кому не обращаясь, произнёс:

– Однако, Петрович, тонн сто шестьдесят выжал...

– Сто пятьдесят восемь, – отозвался Петухов, поднимаясь. – Будем делать ванну. Пошли, Федя, посмотрим, что там у тебя...

Подпорка выгнулась, отошла от ноги на несколько сантиметров, и Петухов с тоской подумал, что опять надо будет говорить с базой, просить трубу, сварщика – и всё это надо делать сегодня, и теперь уже не обойтись без длинного разноса.

– В печёнках у меня эта седьмая, – не выдержал он. – Когда ещё площадку делали, чувствовал, что-то не то, чертовщина здесь какая-то.

– А ты не сообщай на базу, – сказал Коробов. – Я видел трубу подходящего диаметра у тебя возле конторы, а сварить я могу, всё-таки пятый разряд.

Петухов помолчал, потом согласился:

– Давай так и сделаем, ругани ещё впереди с лихвой хватит.

6 сентября. Ночь

Ляхов заступил на смену в отвратительном настроении. От Татьяны он узнал, что днём Коробов протаскивал инструмент, пытался ликвидировать аварию и Петухов, но ничего не получилось, так что теперь без аварийных работ никак не обойтись. И тут он закусил удила.

Если бы попытки закончились удачей, победителей он бы судить не осмелился, но теперь выходило, что ему придётся вкалывать, а Коробов только и сделал, что заменил канат да усугубил прихват. Эта очевидная несправедливость бесила его. Кроме того, после дневного сна голова была тяжёлой, тело вялым, так бывало всегда, но когда шла работа на метры, на ощутимый результат, прогрессивку, Ляхов этого не замечал. Устин ушёл принимать смену, а он всё сидел за столом, опустив голову на руки, и не мог справиться с охватившей его ненавистью к Коробову. Очнувшись от прикосновения горячей руки Татьяны.

– Ну что ты раскис, – тихо сказала она и погладила его по голове.

От этой руки и голоса Ляхову вдруг стало жалко себя, впору расплакаться и уткнуться в пахнущую жаром печи женскую грудь, но он удержался. Встал, обхватил Татьяну за плечи, впился губами в её губы и долго не отпуская.

– Не надо, – наконец вырвалась она. – Устин и так что-то подозревает.

– Чёрт с ним, с твоим Устином, – как можно ласковее произнёс он. – Два года, а потом всё будет по-новому, всё, понимаешь... Уедем подальше, где никто нас не знает...

– Ладно, ладно, – грустно улыбнулась Татьяна. На щеках у неё появились ямочки, делавшие её похожей на девочку-десятиклассницу.

Ляхов почувствовал прилив нежности.

– За что это Устину такое богатство? – подумал он вслух.

– Не надо... Не говори о нём плохо.

– Да он у меня уже знаешь где?.. Не могу рядом с тобой его видеть, понимаешь, не могу!

– Он не виноват.

– Оставим этот разговор, – чувствуя, как опять возвращается злость, сказал Ляхов. – Пошёл я...

– Иди.

Поднявшись на буровую, Ляхов был неприятно удивлён: Коробов не только заменил канат, но и успел вычистить все ёмкости. Но винить себя за давешние мысли он не стал, увидя в этом негласный вызов ему, Ляхову.

Устина и Женьку он нашёл под навесом, где лежали мешки с солью, каустической содой для промывочной жидкости. Женька, забравшись на верхний ряд, дремал. Устин сидел внизу, привалившись спиной к мешкам, и, закрыв глаза, о чём-то думал.

– Лежишь? – Ляхов толкнул Женьку. – Не налезался за день... Работать надо.

– Мы уж вроде начали, да бурилы всё нет и нет, затосковали без его командирского голоса, как кавалерийские кони...

Ляхов выжал из мужиков всё, сам вымотался до предела, но через четыре часа ванны были заполнены. Петухов, в очередной раз поднявшийся на буровую, только хмыкнул:

– Опасный ты человек, Ляхов, – то ли с неодобрением, то ли с завистью сказал он. – Когда захочешь, чёрт-те что можешь сделать...

– А ты не знал?.. Между прочим, я у тебя уже четвёртый год работаю.

– Знать-то знаю, да вот привыкнуть никак не могу.

– К тому, как я работаю?

– К тебе... Поужинайте, и пусть мужики отдохнут. Потом, пока светло, подчисти в тёмных углах, завтра начальство приезжает, а Коробов ночью, где посветлее, марафет наведёт. И подёргивай иногда, вдруг отлипнет, только не лихачь, видел ногу?

– Коробов варил?

– А что?

– Тогда не буду, жить хочу.

– Ну и договорились.

...После ужина Ляхов полчаса подёргал инструмент, но прихват был жёсткий, трубы поднимались сантиметров на двадцать, и, потеряв всякую надежду вырвать колонну, опасаясь тянуть посильнее – не веря ни в вышку, ни в канат, ни во всю эту железную оснастку – Ляхов позвал Устина.

– Верховой где?

– Наверху был.

– Чо его на крыши тянет, вроде осень, не весна. – Попытался пошутить Ляхов. – Нечего ему там прохладиться, зови вниз и по очереди погоняйте, а я к мастеру схожу.

Устин покричал Женьку, но тот не отзывался, и Ляхов, уже спустившийся с буровой, полез вверх сам.

Женька спал, завернувшись в телогрейку.

Ляхов ткнул его сапогом, закипая злобой к человеку, которого он не смел тронуть, и не только не смел – боялся, а это было унижительно для него, Ляхова.

Женька вскочил на ноги, словно и не спал, полоснул Ляхова злым взглядом, но Ляхов уже не мог сдержаться, рванул его за плечо, пригнул к настилу.

– Ты, – задыхаясь от ненависти, прошипел он, – ты, сопляк... Думаешь, забыл я, как тогда на тропе, думаешь, простил...

Он гнул Женьку всё ниже и ниже, чувствуя, как тот сопротивляется, и испытывая удовольствие от того, как это непокорное тело всё же подчиняется ему; он мог сделать сейчас с ним всё, что угодно, и сделал, если бы не увидел потемневшие глаза верхового и не прочитал в них силу, которую он не мог преодолеть. Руки вдруг ослабли. Он выпрямился, пошёл к лестнице, слыша тихий Женькин голос:

– Запомни, бурила, не жить нам с тобой на одной земле. Запомни...

Хотел вернуться и выбить из Женьки то, что он сказал, но не чувствовал в своём теле давешней силы, она ушла куда-то, растворилась, стекла по металлическим трубам в землю. Ляхов засмеялся, тонко, затаённо, удивляясь своему смеху, и не в силах его сдержать.

Он прошёл мимо Устина, потом мимо конторы мастера, столовой, направляясь к стоящему на отшибе вагончику, где жили поварахи, заезжавшие на буровую корректоры да геофизички.

Стоя на верхней площадке лестничного марша, Женька смотрел ему вслед, всё ещё продолжая что-то шептать побелевшими губами, без слёз плача от унижения, от своего бессилия, одиночества, ненавидя тот час, когда согласился пойти в вахту Ляхова, и понимая, что теперь уже нет выбора и он ничего не в состоянии остановить: будет так, как будет. Он видел, как Ляхов исчез в дверях вагончика, и, кусая губы, стал спускаться вниз.

Стоящий у лебедки Устин окликнул его:

– Что вы там, опять, значит, не поладили?

– Да так, поговорили... – отозвался он.

– Дерьмо, а не человек, – бросил Устин, и Женька понял, о ком это сказано, ему стало немного легче. – Иди погуляй часок, я постою, потом сменишь...

...Перед самым концом смены Ляхов зашёл к Петухову.

Мастер сидел за столом, наклонив настольную лампу так, чтобы яркий круг света падал на схему разреза скважины, разложенную на столе.

– Что тебе? – недружелюбно спросил он.

– Да я ненадолго, не помешаю, – непривычно тихим голосом произнёс Ляхов. – Так что потерпи немного.

– Не крути, – поморщился Петухов. – По делу?

– Поговорить с тобой хочу, мастер. Начистоту.

– Давай.

– Не то у меня на душе, надо поговорить, – будто не слыша, продолжал Ляхов. – Решил вот с тобой без свидетелей...

– Короче можешь?

– А короче не надо, – обиделся тот. – Или слушать не хочешь?.. Но я всё равно скажу. Всё скажу. Принципиальный ты, конечно, мужик, я это понял. Хотел тебя в друзья-товарищи взять, а ты всё, как налим, ускользаешь. Будто ничего не понимаешь... А всё ты понимал, всё...

Даже молчал, если выгодно было и с меня же кое-что имел, правда?..

– Что ты несёшь?

– Уеду я скоро, вот и решил всё сказать, больше ведь никто не осмелится, особенно Коробов, дружок твой, а я скажу, все твои махинации у меня вот где, – он постучал по лбу. – А память у меня – не жалуюсь...

Обижал я многих, грубый, невыдержанный – знаю, но не просто так, мастер, людей я не люблю, не просто. И твоя принципиальность чего стоит?.. Слышал, ты собираешься бумагу

на меня накатать, чтобы за границу не выпустили? Не делай этого, мастер, давай по-доброму разойдёмся...

– По-доброму? – Петухов повернул плафон лампы так, чтобы видеть лицо Ляхова. – Доброты чужой захотелось тебе, Ляхов, вот оно что... Доброты... А ты сам был когда-нибудь добрым?

– Идею из себя не строй. – Ляхов отвернул плафон. – Я тебя как облупленного знаю. И как ловчишь, начальство вокруг пальца водишь, знаю, и как с метрами крутишь...

– Уходи, – выпрямился Петухов. – Думал, в тебе хоть мало-мальски человеческого осталось, да, видно, одно дерьмо...

– Не оскорбляй, мастер, у меня ведь память хорошая... На этот раз прощаю. – Ляхов сжал зубы.

Петухов наклонился к нему.

– А ты не пугай, пугали меня, Ляхов. Жалею только, что метры перетаскивал из разных месяцев, жалею, потому что и ты ведь премию получал, и ты благодаря этому в передовики выбился... А теперь иди...

– Не пиши, мастер, так будет лучше и для меня, и для тебя... А чтобы не напоминать о себе, утром я уеду на попутном лесовозе в посёлок, скажешь завтра начальству, что, дескать, заболел. И больше на буровую не выйду, у меня отпуск за два года не использован, вот и возьму, погуляю перед заграницей. Договорились, мастер?

Ляхов постоял, ожидая ответа, но Петухов наклонился над разрезом. Он потоптался и вышел.

6 сентября. Ночь

Смену Коробов принял у Устина. Отсутствие Ляхова его несколько не удивило: и прежде случалось, что тот уходил раньше, оставляя помбуров управляться одних. Не любил Ляхов буровую, не любил то, что так нравилось Коробову: равномерный говор дизелей, запах промывочной жидкости, ручейком бегущей по желобам, ночную стылость металла, гул медленно вгрызающегося далеко внизу в забое долота и одиночество у рычага лебёдки, когда шло бурение. В такие часы Коробов отправлял мужиков с буровой, а если отдавал рычаг, то с жалостью. Ляхов же сам уходил в вагончик, и бурил в основном Устин. «Мужское дело – подъём-спуск, – говорил Ляхов. – Тут мастерство своё и показывай, а на забое стоять любой сможет». Может, от этой нелюбви, если выпадало ему бурить, и проходка была значительно ниже, чем у Устина, непросто это – чувствовать далёкий забой. Порой Коробову казалось, что, не будь у Ляхова такого помощника, не было бы и сверхплановых метров проходки, не было бы и премий...

Погоняв инструмент, он выключил лебёдку, помог Анатолию и Лёше убрать буровую, отправил их в дизельную, где сейчас было тепло и нешумно. Оставшись один, обтёр кожаную, ополоснул металлический пол у ротора, обошёл ванны с промывочной жидкостью. Вроде, всё было в порядке. Зашёл в дизельную, постоял возле дремлющих в тепле мужиков. Потом толкнул Лёшу.

– Хватит клевать, идите поспите в вагончике... Идите, идите, всё одно делать нечего.

– Приказано – исполняй, – поднялся Лёша и позвал студента. – Пошли, Толя, спать.

Пока шли до вагончика, сон пропал.

Ночь была звёздная, со слабым осенним морозцем, похрустывающей под сапогами подмёрзшей грязью, пахнувшая арбузом, и, не доходя до вагончика, Лёша свернул в сторону, поднялся по подъездному пути к дороге, разбитой лесовозами, возившими хлысты с делянок леспромхоза, присел на ствол корявой березы. Подошёл Анатолий, сел рядом.

– Замерз? – спросил Лёша.

– Нет.

– Спать хочешь?

– Уже не хочу.

– Тогда посидим, я люблю ночь слушать. Только на буровой не слышно ничего, а тут – пожалуйста...

Анатолий прислушался. Скоро тишина и вправду наполнилась звуками. Где-то далеко шла машина, и её гул, плутая по распадкам, то усиливался, то исчезал совсем. Иногда щёлкал ледок под чьими-то осторожными шагами, а может, от крепнущего морозца. Посвистывал, путаясь в ветвях, ночной ветерок.

– Слышишь? – вдруг прошептал Лёша. – Сохатый пошёл...

Анатолий ничего не слышал.

– Да как же, валежины трещали... – В Лёшином голосе прозвенело удивление.

– А может, кто другой? – виновато спросил студент.

– Нет, сохатый... Шаг уверенный. – Лёша подумал: – А может, кто другой... Интересно, мы здесь сидим, а вокруг всё живёт своей жизнью...

Анатолий вздохнул.

Он думал о другом.

О последнем вечере в посёлке перед очередной заездкой на вахту, когда выпал первый в этом году снег и они с Любой гуляли в белой ночи. Казалось, что и не ночь вовсе, так много высыпало на улицы людей: они играли в снежки, лепили снеговиков... А они с Любой целовались...

Анатолий снова и снова вспоминал полураскрытые ожидающие губы, искорки снежинок на русых волосах, глаза, любящие, ждущие и вновь переживал то, что чувствовал тогда.

В ту ночь и сейчас он любил её, Любу.

Но тем не менее каждую неделю продолжал писать и получал письма из города, начинавшиеся словами: «Милый мой...»

И не мог разобраться в себе самом.

Не мог понять, где же настоящая любовь.

– Ты не заснул? – прервал его мысли Лёша.

– Нет, я слушаю.

– А я маму вспомнил... Мы ведь без отца выросли, считай... Двенадцать нас было, я старший. Батя в леспромхозе работал. Когда Санька, двенадцатый, родился, лесиной отца прибило. Я семь классов закончил и пошёл работать, сначала на базу слесарем, потом на буровую... Деревня наша маленькая, среди тайги стоит, вот я и считал, что все люди одинаковые. Думают одинаково, говорят одинаково, живут одинаково. Долго верил в это. А на буровую пришёл, и оказалось, что всё не так. Первый мастер, Жуков был такой, меня своей правде учил: ты, говорит, живи для себя и на всех чихай. Без рубля – пальцем не пошевели, цени свой труд! Уважать будут тогда больше... Женился, жинка с тёщей по-своему учить стали, чтоб дом – полная чаша... Чувствую, запутался вконец, стал газеты читать, самообразовываться, общую правду выискивать. Но газеты одно, с ними не поспоришь. Ты вот грамотный, поэтому мне с тобой поговорить приятно, только, наверное, и ты про меня думаешь разное. Коробов вот умный человек, а тоже... Станный ты, говорит, Алексей, скоро сорок, а всё чего-то ищешь. А я так понимаю, если человек перестаёт искать, так он уже и не человек... Я в газету писал, ответ получил, длинно пишут, сложно, одно понял – правда у нас одна. А я другое вижу...

– Наверное, ты не совсем понял, что тебе написали, – боясь обидеть, осторожно сказал Анатолий.

– Может быть... Грамотёшки-то у меня... Я ведь в школе плохо учился... Ночь-то какая... А только по-разному мы с тобой её слышим... Парадокс...

– Иначе и быть не может... Я – это я, у меня свои мысли, ощущения, у тебя – свои. К тому же, надо прежде в терминах определиться, что ты имеешь в виду под понятием «правда»?

– Я понимаю, ты не думай. Хоть и учился мало, а читал много.

И про истину, и про индивидуальность. Больше в газетах, конечно.

Только иногда путаться начинаю. Помню, читал, хвалили тех, кто тайгу корчует, а теперь вот ругают. Или раньше хорошо писали о начальниках, которые в трудные моменты вместе с рабочими были, пример показывали. Потом тех хвалили, которые в кабинете сидят.

Может, через десять лет и мне скажут: не так, не по правде ты жил, Алексей, не о том думал, не так делал...

– Брось ты, Лёша, никто так не скажет, о тебе ведь в газетах не пишут, – улыбнулся Анатолий. – Ну а ругать нас за наши дела, может, и будут. Новое время – новые проблемы...

– И нашу жизнь, выходит, перечеркнут... Как мы – дела тех, кто до нас тайгу покорял?

– Никто не перечёркивает их дела. Мы просто говорим, что теперь этого не нужно делать. А тогда это было правильно.

– Тогда правильно, сейчас неправильно, запутал ты меня... Я хочу, чтобы всегда ясность была. Чтобы всегда правильно всё делать...

Лёша замолчал.

Анатолий хотел что-то сказать, но тут далеко в ночи послышался то ли крик, то ли плач.

– Что это? – шёпотом спросил он.

– Птица, наверное. – Лёша встал. – Филин. А то заяц... Может, спать пойдём?

– Расхотелось уже, погреться лучше.

– Тогда на буровую.

До буровой дошли, думая каждый о своём.

Лёша – о сыне, которого, если бы тот был, он очень любил и с которым можно было бы поговорить, поделиться своими мыслями, сомнениями...

Анатолий поёживался, не в силах забыть странный крик и думая о леших и всякой нечисти, которой, конечно, нет, но которая вполне может и быть под этим небом, как живёт под ним всё остальное...

Коробов удивился их приходу, но ничего не сказал.

Они сели в дизельной на лавку возле стены, блаженствуя в тепле, лениво разговаривая и незаметно проваливаясь в сон и возвращаясь обратно..

...Под утро заглянул на буровую Устин. Был он в рабочей одежде.

Пожаловался на бессонницу, оттого и пришёл так рано, присел рядом с Коробовым.

Прислушался к разговору.

Говорил Лёша.

– Книжки взять, к примеру... Которые в прошлом веке написаны были. Умные герои в этих книжках. О чём только не разговаривают. Порой даже обидно станет: жили раньше, а говорили лучше.

Выходит, прогресс никак на мне не сказался?.. С жинкой начну беседовать на всякие такие темы, например, почему религия опиум для народа или как будут люди в двухтысячном году жить, а она отмахивается. Женщина, говорю, что же это получается, сто лет прошло, а где твоя высокая ступень культуры по сравнению с Анной Карениной?

Мужики засмеялись.

– А она что? – спросил Коробов.

– А она, ясное дело, возьму сковороду, говорит, да опущу тебе на голову, чтобы спать не мешал. Ты, говорит, только меня знаешь, а Анну Каренину и в глаза не знал, мало ли что понапишут в книжках, а насчёт её любви, так я и почище могу.

– Не баба у тебя, а бритва опасная.

– Я ведь понимаю насчёт женского ума. Он как был ограничен природными факторами, так и остался. Баба только в молодости вперёд бежать хочет, а потом к месту прирастает.

– Не скажи, – вмешался Устин, – не всякая баба.

– По своей сужу, – Лёша вздохнул. – Конечно, грамотёшки мне не хватает, а может даже, не столь знаний, в газетах обо всём пишут, а системы... Вот мозг – безграничный ряд ячеек...

как соты, и в каждую что-нибудь откладывается. Отложится и лежит, пока не потревожишь, пока импульс не подашь. Так вот, я понимаю, если, к примеру, в мой мозг подать этот самый импульс, во мне такие знания поднимутся...

– Информация, – Анатолий зевнул. – Информация, Лёша, у тебя в ячейках, а это только основа для знаний, которые, в свою очередь, только база для рождения собственной мысли...

– Видишь, что образование значит, – после паузы произнёс Лёша. – Всё по полочкам... и понятно стало.

– Ни черта тебе не понятно, – засмеялся Коробов. – Что ты всё время чужой жизнью жить пытаешься – живи своей. Своими мыслями, своей головой. То правду ищешь, то систему какую-то...

– Газеты, Васильич, читаю, а там пишут, что жизнь – это вечный поиск.

– Мало ли чего там напишут.

– А про счастье что пишут? – неожиданно спросил Устин.

– Про счастье?.. Что-то не помню. Да я и сам знаю.

– Что же?

Лёша оглядел мужиков, стараясь понять, смеются они или всерьёз спрашивают, и, решив, что всерьёз, ответил:

– Я по-простому понимаю, счастье – это и есть жизнь.

– Силён ты, – после паузы сказал Коробов. – Ну, прямо философ.

А ты, Устин, как считаешь?

Устин растерянно взглянул на Коробова, поднялся:

– Спать хочется. Пойду посплю, вот и счастлив буду...

– Квелый он, – сказал Лёша, когда Устин ушёл. – Совсем молчуном стал.

– С женой у них неладно. – Коробов примял сапогом окурки, тоже поднялся. – Погоняю ещё, рассветёт скоро. А вы по свету вокруг буровой пройдите, лишний мусор с глаз долой, начальство сегодня будет...

6 сентября. День

Начальство прилетело раньше, чем ожидал Петухов. Сквозь сон он услышал шум вертолёта и, на ходу одеваясь, выскочил из вагончика.

Солнце ещё только-только показалось над верхушками деревьев, осветив половину вышки. На буровой, запрокинув голову, стоял Коробов и глядел на делающий круг вертолёт.

Тот прострекотал над деревьями и исчез; площадка была отсыпана в стороне, рядом с дорогой.

Петухов заскочил в столовую, мельком отметил заплаканное лицо поварахи, поморщился, но разговаривать было некогда, и он только бросил:

– Татьяна, ты бы себя в порядок привела. И сделай порций пять лишних.

Та кивнула, склонилась над плитой.

...Вместе с главным инженером прилетел мастер по аварийным работам Тихонов. Усмехнувшись над этой страстью Безбородько перестраховываться, Петухов поздоровался, подолгу задерживая ладони, чтобы сразу почувствовать, с каким настроением прибыло начальство и как лучше поступить, чтобы его не прогневить. Судя по насупленным выражениям лиц, с неприятностями лучше было выждать, и Петухов повёл всех в столовую.

Завтракала вахта Ляхова.

Женька и Устин ели молча, а Цыганок гремел ложкой и сопел от удовольствия: на завтрак был плов, который он любил.

Безбородько и Тихонов сели за столик в углу.

Петухов принёс наполненные с верхом тарелки.

– Как в санатории живёшь, – поворачивая ложкой дымящийся плов, сказал Безбородько. – Ешь хорошо, а метры не даёшь.

– Метры будут, – буркнул Петухов, пристраивая табурет рядом. – Своё наверху ставим.
– Ну-ну... А где Ляхов, что-то я не вижу, его же вахта?

– Ляхов? – Мастер оглянулся, выразительно посмотрел на Устину: он не любил, когда рабочие видят, как начальство его допекает.

Устин поднялся, поставил тарелку, вышел, подталкивая впереди себя Женю и недовольного Цыганку.

Татьяна Львовна вышла следом.

– А плов, мастер, отменный, повара у тебя хорошая... Чего ты её выпроводил?

– По делам пошла.

– Так где, ты сказал, Ляхов? Спит..? А ты сейчас выгораживать его станешь.

– Чего мне выгораживать. – Петухов помедлил. – Отпустил я его.

– Куда?

– В посёлок.

– Ты что это своевольничаешь? – Безбородько положил ложку. – Ты что?.. На буровой авария, а он, понимаете ли, бурильщика отпускает!

Хотел закончить длинной тирадой о безответственности и её последствиях, но плов сделал своё дело, желания длинно говорить не было, и он обошёлся одной фразой:

– Сам встанешь к лебёдке... Давай, что там есть погорячее, раз хозяйку выслал.

«Пронесло, – подумал Петухов, разливая по кружкам крепкий чай. – Одно пронесло, теперь подпорка. Но о ней пока говорить нельзя».

После завтрака пошли на буровую. Главный инженер делал мелкие замечания, интересовался больше внешним видом, а Тихонов сразу отошёл, и как Петухов ни крутил головой, так и не смог уследить за ним. Это его обеспокоило, он знал Тихонова давно. Старший сын Петухова и дочь Тихонова учились в одном классе. Петухов знал, что за двадцать лет работы мастер по ликвидации аварий научился видеть не только всё на поверхности, но и, как шутили буровики, на пятьсот метров в глубину. Если Безбородько можно было показать, что выгодно, то Тихонов с провожатыми никогда не ходил и видел всегда гораздо больше.

Испортит обедню, тосковал в душе Петухов, стараясь подгадать минуту, когда можно будет самому рассказать о прогнувшейся подпорке, но такой минуты всё не выпадало. Тихонов попросил потянуть на сто тридцать тонн. Увидев, как вибрирует инструмент, главный инженер совсем расстроился, и Петухов понял, что день этот ничем хорошим не кончится.

– Ну, мастер, пойдём к тебе, покумекаем, что делать...

Было время связи, и Безбородько сел за рацию.

Дежурного инженера он заставил пересказать, как обстоят дела на других буровых, накричал на всех сразу и послал к праотцам вертолётчиков, которые никак не могут завезти долота на самую отдалённую буровую и та уже третий день простаивает.

Когда, наконец, главный инженер положил трубку, Тихонов уже исписал расчётами пару листов большого знаменитого блокнота, в котором, по слухам, были описаны все аварии, случившиеся за двадцать лет.

– Эх, продашь ты нас когда-нибудь, Станислав Иванович, с потрохами, – дежурно пошутил главный инженер, с явной опаской кивая на этот блокнот. – Ну, с кого начнём, с мастера?

– Пожалуй, лучше я начну, – предложил Тихонов. – А Иван Петрович поправит, если в чём ошибусь.

Петухов бросил на Тихонова быстрый взгляд, который должен был означать одно: хитёр ты, брат. «Что подделаешь, – прочитал он в ответ. – Одному тебе с Безбородько не справиться, а он рисковать не любит».

Заметил, догадался Петухов, вот чёрт лысый, всё заметил.

– Давайте, Станислав Иванович, – разрешил главный.

– Прихват большой, жёсткий, на пуп не возмёмшь. Вот здесь, – он развернул схему разреза и ткнул карандашом, – доломитовая линза.

Мощность её невелика, но, если она обвалилась, инструмент мы не поднимем... Надо пробовать нефтяную ванну. Не поможет – кислотную. Потом поднять инструмент, техническую колонну цементировать и бурить новый ствол.

– А ванны не помогут?.. – Безбородько повернулся к Петухову. – Будем отрывать, деньги выбрасывать... – Главный инженер встал, заходил по вагончику, натываясь то на стол, то на ящик, то на кровать. – Чёрт, что у тебя тут за ящики, – выругался он. – Как в сарае, а не в жилом помещении... Или забуриться не сможем новым стволом – и скважину закрывай, выбрасывай миллион...

Последние слова никому не адресовывались. Они повторялись на каждой буровой, где случалась авария.

– Чего молчишь, мастер? Тебе вопрос, твоя скважина, ты допустил до аварии...

– До аварии не допускают, Владимир Владимирович, сами знаете, от нас не зависит то, что произошло, – тихо сказал Петухов, подумав, что о канате с дефектом он и не заикнётся.

– Зависит! На буровой всё от мастера зависит, – не терпящим возражений тоном отрубил Безбородько. – Да, Станислав Иванович, что-то ты умолчал о реальных шансах вырвать инструмент?

– Я говорил, Владимир Владимирович, прихват жёсткий, и к тому же, – Тихонов посмотрел в сторону насторожившегося Петухова, извиняюще развёл руками: надо, мол, куда денешься, – не знаю, когда Петрович заметил, но решение он принял правильное, укрепил прогнувшуюся подпорку. Метров на сто её ещё хватит, а там надо будет что-то решать.

– Какую подпорку? – круто повернулся Безбородько. – Почему не доложил?

– Не успел, Владимир Владимирович. Днём вчера перед прихватом обходил буровую, ну и заметил, что прогнулась... Труба подходящая была, Коробов приварил, а доложить не успел, забегался, сами понимаете...

– Я понимаю... Да я понимать ничего не хочу! – закричал Безбородько. – Ну, погоди, разделимся с аварией, за всё у меня ответишь.

Выкарабкаешься из неё благополучно – сойдёт, а не выкарабкаешься – всё припомню... Так понял эту фразу Петухов.

Он согласно кивнул.

– Станислав Иванович, сколько ты там нефти насчитал на ванны?

– Кубов десять.

– Есть у вас? – сердито спросил главный инженер Петухова.

– Найдётся.

– Так чего стоишь? Давай, команду, ты же мастер здесь...

Оставшись вдвоём с Тихоновым, Безбородько ещё раз посмотрел схему разреза, провёл ладонью по красному одутловатому лицу, вздохнул:

– Ну и подарочек сделал Петухов, – пожаловался он. – Лучший мастер, можно сказать, и словно подменили на этой седьмой. С подпоркой явно что-то темнит, бурильщика отпустил, когда в каждой вахте людей не хватает... Как думаешь, Станислав Иванович, спасём скважину?

– Гадать не умею, Владимир Владимирович. Хотелось бы, всё-таки за три тысячи ушли.

– С дочкой поладили? – перевёл разговор Безбородько, зная, что шестнадцатилетняя дочь Тихонова собралась замуж за студента-практиканта. И, не дождавшись ответа, сказал: – Дети сейчас взрослее нас, палец в рот не клади. Ума нет, а всё по-своему норовят... Ничего, образуется, я с этим донжуаном как следует поговорил... Тут вот тоже практикант – с дочкой мастера Сорокина гуляет, а ему чуть не каждый день от городской крали письма приходят. И она знает, а всё-таки ходит... Да «ходит» – не то слово, прилипла... Никакой гордости...

– Влюбилась, наверное, – провёл ладонью по лысине Тихонов.

– Влюбилась... Так меня ведь просят и тут вмешаться... На пенсию спокойно не уйдёшь... Загубим скважину, такой почёт мне будет, такие проводы, помереть захочется, – поделился своими опасениями Безбородько.

Он ждал, что Тихонов успокоит его, пожалеет, но тот молчал, и Безбородько сказал:

– Пошли, посмотрим, как там дела...

Вечером главный инженер опять вышел на связь с базой. Сказывалась многолетняя привычка быть постоянно в курсе всех дел, и даже сейчас он не хотел воспользоваться коротенькой передышкой, отдохнуть от неурядиц, нерешённых вопросов. Он уставал, жаловался, порой ненавидел свою работу, но привычка неизменно брала верх, она была как болезнь и как лекарство одновременно.

Не услышав никаких радостных новостей, Безбородько отругал начальника производственного отдела и приказал срочно выслать на буровую машины-цементаторы. Всё было готово для аварийных работ. Закачанная в скважину нефть должна была просочиться между трубами и породой, смазать, разжать каменные тиски. Должна, но могла и не справиться с этим, и Тихонов по рации отдал распоряжение приготовить кислоту и утром отправить. В свою смену Коробов подготовил для цементаторов площадку, сделал настил, чтобы удобнее было подносить цемент.

Ночью Безбородько разрешил заступившей вахте Ляхова спать: если придётся цементировать, работы хватит на всех, остался дежурить только Цыганок, он первым и встретил прибывшие из посёлка цементаторы. Разбудил Петухова, а вместе с ним и начальство. Тихонов заснул только под утро, всё не шла из головы дочь с её любовью...

Хотя какая любовь в шестнадцать лет?.. А Джульетта?.. Классику Тихонов помнил, но одно дело – Джульетта, совсем другое – его Верка...

Он не выспался, был раздражён.

Безбородько проснулся в распрекрасном настроении, но стоило ему увидеть застывшую в непривычной неподвижности буровую, как настроение испортилось. Не выправил его даже вкусный завтрак.

У Петухова настроение и не могло быть хорошим, поэтому все трое появились на буровой мрачнее тучи.

Пока Петухов и главный инженер расставляли цементаторы, Тихонов спустился к устью скважины, зачерпнул в ладони немного промывочной жидкости, понюхал, что-то ему не понравилось, и он стал ещё угрюмее.

«С таким настроением только покойника хоронят», – глядя на них, подумал Коробов, сжимая в нетерпении рукоятку тормоза лебёдки.

– Начнём? – не выдержал он, и Безбородько посмотрел на него так, что пропало желание разряжать обстановку.

– Не обращай внимания, – успокоил его Лёша. – Начальство всегда пасмурное, это так заведено. Плохо что-нибудь – пасмурное, хорошо – чуть посветлее, но всё равно с облачностью.

Студент улыбнулся.

– И я таким буду?

– А то как же, – не сомневаясь, сказал Лёша. – Как только станешь начальником, сразу и маску наденешь соответствующую. Я книжку такую читал, «Социальная психология», там написано, что на каждом месте своя маска. Человек пришёл на работу – вроде надел её на лицо, пошёл в кино – другую, домой – третью...

– Готовы?! – крикнул Безбородько. – Хватит болтать!

Коробов включил лебёдку, насосы, посмотрел на стоящего рядом Тихонова. Тот покачал головой: не спеши, нагнулся над отверстием в полу, что-то высматривая в вытекающей из скважины промывочной жидкости с маслянистыми пятнами нефти, потом махнул рукой, и

Коробов отпустил тормоз. Дизели загрохотали, стрелка побежала по диску, отбивая всё новые и новые деления и приближаясь к предельной, выступающей среди других, чёрточке.

«Надо было всех увести с буровой», – запоздало подумал Коробов. Бросил взгляд на стоящих неподалёку Петухова и Безбородько, а за ними всё время видел большие глаза Анатолия и спокойное лицо Лёши-Правдоискателя.

Стрелка вплотную подошла к черте, а инструмент всё так же стоял неподвижно.

– Выключай! – прокричал на ухо Тихонов.

Коробов выключил лебёдку.

Стало тихо.

Упала вниз стрелка.

Он хотел повернуться, спросить, что делать, понимая, что надо пытаться ещё, не медлить, но Тихонов опередил его:

– Давай, быстро!

Снова взревели дизели, и теперь стрелка ещё быстрее добежала до предельной черты, до ста пятидесяти тонн, которые ещё могла выдержать погнутая и наскоро приваренная им ещё одна подпорка. Может быть, не хватало одной-единственной чёрточки, так заманчиво было переступить порожек, понадеяться, рискнуть, поддаться азарту, но этого нельзя было делать, и Коробов знал, что именно об этом сейчас думает каждый из стоящих на буровой.

– Пошла, – услышал он тихий голос Тихонова и в следующее мгновение увидел, как линия, проведённая графитной смазкой на трубе, медленно, миллиметрами, поползла вверх, вытаскивая трёхкилометровую колонну, и уже грохотала лестница под Лёшиными сапогами, стоял с крюком наготове Анатолий, и Петухов натягивал верхонки, примеряясь, как ловчее зацепить ключ, развернуть муфту. Свеча пошла в дальний угол, щёлкнул замок элеватора, и Коробов закинул ручку тормоза до предела вверх. Элеватор со свистом полетел вниз, Петухов поймал его, почти на лету застегнул на новой свече, и Коробов подумал, что не мешало бы этого мужика взять к себе в вахту, потом вспомнил, что это мастер, и расхохотался.

– Ты что?! – подскочив, закричал Петухов. – Тяни, Федя, тяни, друг!

Одна за другой, позванивая, вставали в магазин свечи, мутными струйками стекала по ним промывочная жидкость, и всё больше начинал верить Коробов, что удалось вырваться. Но только подняв инструмент в техническую колонну, спрятав его за металлическими стенами, он сбавил темп, жалея Лёшу, давно уже мокрого от пота. И Петухов скинул верхонки, махнул рукой – перекур, стёр пот грязным рукавом своей недавно чистой штормовки, показал в дизельную – глуши.

И, запрокинув голову, крикнул Лёше:

– Эй, чёрт верховой, слазь, отдохни!

Коробов прислонился к горячему кожуху лебёдки, вдыхая гарь тормозов, разогретого железа, и тут только заметил, что на буровой тесно от людей.

Поодаль, забыв о варившемся обеде, стояла Татьяна Львовна.

– Ничего мы её, – сказал он, ни к кому не обращаясь, но его слышали, заулыбались.

Вытащили папиросы, пачка пошла по рукам. Дружно задымили.

Даже некурящий студент, неловко зажимая папиросу, втягивал горький дым.

– Устин, вставай на моё место, помоги подъём сделать, – после паузы сказал Петухов. – Ваша смена будет цементировать. Поднимем, зацементируем, и баста, отсыпайтесь, а завтра новая заездка забуриваться будет.

– Ты их не расхолаживай, – остановил его главный инженер. – Ещё посмотрим, как цементирование пройдёт.

– Ничего, у меня мужики что надо, – сказал Петухов. – Пойдёмте вертолёт вызывать...

7 сентября. День

Цементирование прошло без осложнений. После обеда цементаторы уже выруливали на дорогу, а мужики сидели за большим столом возле вагончиков, отдыхали после позднего обеда. Дымили папиросами, лениво переговариваясь. Солнце перед долгой зимой припекало почти по-летнему, и Женька первым скинул рубаху, подставил солнечным лучам загорелую спину, поёжился:

– Ловите, братцы, зима длинная...

Разделся Анатолий, потом Правдоискатель. Подумав, решил погреться на солнышке и Коробов. Скоро забелели за столом непрогревшиеся за короткое сибирское лето мужские спины, наслаждаясь коротким теплом и таким же коротким неожиданным отдыхом.

Но долго так не усидели, не привыкли.

– Толя, сходи за фотоаппаратом, – вдруг попросил Лёша. – На память нас всех запечатли...

– Тогда надо одеться, а то что это за предбанник, – сказал Коробов.

– Фёдор Васильевич прав, память ведь, на всю жизнь.

Все зашевелились, оделись, по рукам пошла расчёска, и скоро мужики сидели чинно, положив на стол тяжёлые, почерневшие, оббитые руки...

После фотографирования вспомнили, как Коробов цепенел за рычагом лебёдки, когда тянул инструмент, потом помянули Ляхова, который поступил, прямо сказать, не по-мужски. Забеспокоились, что не фотографировался Устин, но кто-то вспомнил, что видел, как тот заходил в женский вагончик.

– Не зови, может, не вовремя, дело семейное, серьёзное, – остановил Коробов собравшегося сбегать за ним студента.

Цыганок пошёл к вагончикам.

Вышел с мелкашкой.

– Далеко?

– Пройдусь, может, рябчиков принесу, – ответил Цыганок. – Желающих со мной нет? Желающих не нашлось.

Мужики ещё посидели, покурили, разошлись по вагончикам добирать недоспанное.

Сначала Цыганок шёл споро, потом шаги замедлил, взял винтовку в руку, осторожно, прислушиваясь, перешагивал сухие сучья и нерастаявший в тени хрусткий ледок. Скоро он поднял семейство рябчиков, долго выслеживал, истратил несколько патронов, но так и не попал.

Разуверившись в свой меткости и везучести, потерял интерес к охоте.

Закинул винтовку за плечо и пошёл по тайге не спеша, наслаждаясь холодящим чистым воздухом, потерявшим уже летние душные запахи и вобравшим другие, менее назойливые – уходящего лета и подступающей зимы. Возвращаться не хотелось. Он любил тайгу и от одиночества не страдал.

Пересекая поляну, выстеленную черничником с едва держащимися, уже прихваченными морозцем ягодами, Цыганок вспомнил, как бежал из детского дома и впервые остался в тайге ночью. Сжавшись в комочек под развесистой ёлкой, трясся от страха, размазывал слёзы по грязным щекам, потом увидел огоньки среди деревьев, понял, что это волки, и их было так много, что он даже не испугался, только не мог отвести взгляда от этих огоньков, а когда те приблизились, закрыл глаза. «Цыганок! – вдруг услышал он. – Цыганок!» И, не открывая глаз, пополз на четвереньках из-под колючих веток. Кто-то подхватил его на руки, кто-то заплакал, и это было так чудесно, что Цыганку захотелось, чтобы плач этот никогда не кончался...

Почти из-под самых ног его выпорхнул тетерев, шелестя вихрастым хвостом, тяжело полетел между деревьями. Цыганок сдёрнул с плеча мелкашку, постоял, наблюдая, куда сядет птица, но тетерев улетал всё дальше и дальше, скоро его совсем не стало видно, и, вздохнув, он закинул винтовку за спину.

Наступили сумерки, на удачу можно было уже не надеяться, и Цыганок быстро пошёл к буровой. Спустился к маленькому ручейку, извивающемуся между густыми зарослями кустарника, долго искал, где удобнее перепрыгнуть, наконец выбрал место поуже, разбежался, но в последнее мгновение сапоги заскользили по глине, и он съехал вниз. Ключевая вода мигом пропитала свитер и брюки.

Чертыхаясь от боли и холода, он полез по склону, ухватился за свесившийся куст, рванулся вверх и снова скатился в ручей. Не замечая, как вода заполняет сапоги, перехватил крепче винтовку, загнал в ствол патрон, полез наискосок, одной рукой цепляясь за кустарник, другой крепко сжимая мелкашку. Выполз на склон, замер, до боли вглядываясь во что-то изломанное, чернеющее среди зарослей. Потом, вытягивая винтовку впереди себя, сделал несколько шагов...

Безбородько и Тихонов сидели в вагончике мастера в ожидании вертолѐта. Полчаса назад им передали с базы, что тот заправляется и до темноты вполне успеет за ними, лѐту от базы до буровой не более двадцати минут, и Безбородько, беспрестанно поглядывающий на часы, начинал нервничать. Он расхаживал по вагончику и давал наставления Петухову. Тот невпопад кивал, мечтая только об одном: завалиться и выспаться за все эти дни. Наконец послышалось далѐкое тархтенье. Петухов распахнул дверь, чтобы услышали этот звук остальные.

Безбородько накинул брезентовый плащ, в котором уже лет двадцать выезжал на буровые, вышел первым и быстро зашагал к вертолѐтной площадке.

Они подходили к деревянному настилу, когда вертолѐт завис над ним и медленно, словно проваливаясь в перину, стал опускаться.

Петухов присел на вывороченную лиственницу, закурил.

Безбородько оглянулся:

– Чтоб порядок был...

Петухов кивнул.

– Ох, Петрович, фортуна за тебя, – строго, словно в чём-то его обвиняя, добавил главный инженер и пошёл к вертолѐту.

Петухов сидел, глядя на опускающееся на настил шасси, когда кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел Цыганка. Тот был с ног до головы перемазан в глине, с мелкашкой в руках, и Петухов подумал: только бы Безбородько не обернулся.

– Потом! – прокричал он Цыганку.

Цыганок уцепился за плечо Петухова и, наклонившись к самому уху, прокричал:

– Никак нельзя потом, я Ляхова мѐртваго нашѐл!

В первое мгновение Петухов не понял, о чём это говорит Цыганок.

Он глядел, как, широко шагая, приближался к вертолѐту Безбородько, и пытался уловить смысл услышанного.

– Ляхов там, возле ручья, лежит! – частил Цыганок, и Петухов наконец понял, потоптался на месте, потом рванулся к вертолѐту, задержал закрывающуюся дверь и, ухватив наклонившегося Безбородько за полу плаща, передал ему, что сказал Цыганок.

– Да вы что, белены объелись?! – взвился главный инженер, не поняв до конца, о чём идёт речь, и хотел закрыть дверь, но Петухов держал крепко.

– Заглуши ты своего зверя! – крикнул выглядывающему из кабины вертолѐтчику Безбородько. – Погоди пять минут...

Стало тихо.

– Ну, говори, только покороче.

– Цыганок! – позвал Петухов.

Цыганок подошёл к вертолѐту, сказал не глядя:

– Ляхова я нашѐл в ручье... Мѐртвый он...

– А он у тебя не того?.. – спросил Безбородько мастера.

– Зачем вы так, – не обижаясь, сказал Цыганок. – Тут недалеко... Я проведу...

– Ночь скоро, каждая минута на счету! – крикнул вертолётчик.

– Погоди.

Безбородько махнул рукой:

– Пошли.

...Возвращались они, не глядя друг на друга. Только у самого вертолёта Безбородько сказал Петухову. – Чтобы никто ничего не знал. Я сообщу, а завтра к вам кто-нибудь прилетит. Всё. – И добавил, громыхая сапогами по дну вертолёта: – Ну, Петухов...

Что этим хотел сказать главный инженер, Петухов так и не понял, да сейчас его это и не интересовало: перед глазами всё ещё было скорчившееся, с прижатыми к груди руками большое тело и гримаса испуга, перекосившая лицо Ляхова.

8 сентября. День

На следующее утро на буровую прилетел следователь. Это был молодой парень с университетским значком на кителе, с запоминающейся фамилией Крюк. Анатолий Иванович Крюк.

Первым делом следователь изучил место происшествия. Стареньким ФЭДом, без всякой надежды на удачу, он, как и положено по криминальной практике, сфотографировал труп с разных сторон.

Затем тщательно, шаг за шагом, осмотрел склоны ручья. На это он затратил три часа, но был вознаграждён – на склоне ручья, напротив трупа, он вытащил из глины гильзу от мелкокалиберного ружья.

Этот склон и дно ручья были истоптаны следами, но, как ни старался Крюк, он не смог обнаружить ни одного, отличного от следа, оставленного сапогами обнаружившего труп, а именно гражданина Цыганка Ивана Ивановича. Тем не менее, закончив осмотр и описав место преступления, следователь Крюк не разрешил трогать труп до вечера, боясь сделать что-нибудь не так и решив посоветоваться со своим начальством.

После обеда начальство, исходя из двух обстоятельств: во-первых, из того, что, кроме Крюка, лететь на буровую, то есть на место преступления, было больше никому, а во-вторых, что ближайшая лаборатория находилась за пятьсот километров и не могла быстро определить, из какой именно винтовки и когда был произведён выстрел, ставший причиной смерти гражданина Ляхова, рекомендовало Крюку форсировать следствие, провести допросы, снять показания свидетелей и, выявив убийцу или убийц, задержать, не ожидая данных медицинской и баллистической экспертиз.

Следователь Крюк тяжело вздохнул, подумав, что в университете задач с такими условиями решать не приходилось, и, повернувшись к Петухову, сказал:

– Можете убрать труп, для следствия он больше не нужен.

Петухов вышел, и скоро Крюк увидел, как четверо мужчин пошли к ручью, неся с собой кусок брезента. Он хотел подсказать, что до прибытия вертолёта лучше всего хранить труп в холодном месте, где-нибудь под откосом того же ручья, но догадался, что это, по-видимому, знают и без него.

Он поставил стол в угол вагончика так, чтобы свет из окна падал на стоящий против стола стул, то есть на допрашиваемого, приготовил стопку чистой бумаги, которую прихватил с собой, несколько шариковых ручек и стал ждать, когда вернётся мастер.

Поглядывая в окно, он обдумывал свои вопросы, ответы допрашиваемых и никак не мог избавиться от мысли, что убил гражданина Ляхова Цыганок. И сделал вид, что нашёл труп. В этом хитрость преступника. Таким образом он старается составить о себе ложное мнение и запутать следствие.

Потом Крюк стал думать о других мужиках, с которыми его уже познакомил Петухов, и растерялся, потому что никого отбросить он не мог, ни у кого не было алиби, а его не было, потому что время убийства, которое должна была определить судебно-медицинская экспер-

тиза, ему было неизвестно, если примерно, то с двенадцати часов ночи, когда Ляхова последний раз видел Петухов, и до момента обнаружения труп...

Так, глядя в маленькое грязное оконце вагончика, следователь Крюк всё более холодел от сложности первого преступления, которое выпало ему расследовать, пока не увидел автобус, спустившийся с дороги к буровой. Из автобуса стали выпрыгивать люди, и Крюк удивлённо оглянулся, но мастера не было видно.

Он вышел из вагончика.

Идущие от автобуса мужики были веселы:

– Глядите-ка, да у нас на буровой милиционер появился, – остановился напротив него мужчина с красным крупным лицом и длинными руками.

– Всё, Свиридов, специально ради тебя мастер пригласил, – подтолкнул его в спину шедший позади коренастый седой мужик.

– А ты меня не толкай, – отмахнулся Свиридов. – Тут дело сурьёзное, милиция, братцы, это не шутка... Товарищ лейтенант, это как, положено теперь на буровую по милиционеру?

Ожидая ответа, остановились и остальные, оглядывая Крюка в его новенькой форме с новенькими погонами, на которых светилось по две звёздочки.

Никогда больше на следствие в мундире не выеду, поклялся себе Крюк, ненавидя в эту минуту парадный свой вид, хотя несколько часов назад в вертолёте чувствовал себя отменно и даже радовался, что не послушал товарищей и не стал маскироваться в гражданскую одежду.

Так он стоял в кругу приехавших буровиков, не зная, что им ответить, но тут сзади раздался усталый голос мастера:

– Что к человеку пристали?..

Стало тихо. Мужики посерьёзтели, почувствовав настроение мастера и догадываясь, что всё это неспроста: необычная тишина на буровой, безлюдье, милиционер...

– Дело такое, – помолчав, сказал Петухов. – Прихват мы ликвидировали, наверное, уже слышали. Свиридов, сейчас на вахту, делай спуск и забуривайся. Остальные – отдыхать. И... и если вертолёт будет, поможете погрузить... – Петухов помолчал, не зная, как лучше сказать, что погрузить, потом произнёс: – тело Ляхова... – Посмотрел на следователя, добавил: – Дело это такое, вот товарищ следователь прилетел, будет разбираться, так он просит, чтобы вы пока помалкивали и не трепались по рации, если кто доберётся, так как Ляхова кто-то застрелил...

– Шутишь, – улыбаясь, сказал Свиридов. – Ну, мастер...

– Какие шутки! – взорвался Петухов. – Какие шутки... Ну, чего стоите, расходитесь...

Мужики стали неохотно расходиться, а Крюк, наклонившись к Петухову, спросил:

– Это что, новая заездка?

– Да.

– А кто был, тех куда?

– Домой им надо ехать, – устало произнёс Петухов. – Домой.

– Нельзя, товарищ Петухов, – твёрдо сказал Крюк. – Ни одному человеку я не разрешаю покидать буровую до полного выяснения обстоятельств убийства.

– А что делать прикажете? У людей законный отдых, да и места на буровой всем не хватит, продуктов в обрез...

– И всё же я приказываю всем остаться. – Крюк покраснел. – Нужно всех задержать... Хотя бы на день. Это... это приказ.

Петухов вздохнул.

Договорившись, что на ночь новая заездка потеснится, разместят мужиков, часть переночует в автобусе, и решив вопрос с питанием, Петухов вызвал базу и сообщил Безбородько о приказе следователя. Безбородько долго раздумывал, потом, вздохнув так же тяжело, как вздыхал Петухов, слыша просьбу-приказ следователя, сказал:

– Ничего не поделаешь, надо – значит надо... – добавил: – Нет там рядышком этого лейтенанта?

– Вышел.

– Что он, в посёлке не может допрашивать?

– Не знаю, Владимир Владимирович.

Главный инженер помолчал.

И Петухов помолчал.

– Что-нибудь проясняется? – наконец спросил Безбородько.

И Петухов понял, что хотел услышать он в ответ, но только выдохнул в трубку:

– Говорит, что всех подозревать можно, даже меня.

– Тебя?.. Ну, держись там, Петрович. Слышь, так ты скажи ему, что всё время с нами был...

– Вы утром прилетели, а ночью?..

– Ах да, я и забыл... Ладно, до связи. А мужикам передай, пусть не волнуются, я прикажу поставить семьи в известность... в связи с производственной необходимостью...

– До связи.

Петухов положил трубку.

Он сидел, глядя на синий огонёк рации, и никак не мог осмыслить всего, что произошло за эти дни. Прислушиваясь к себе, он отмечал, что тяжесть, которая преследовала его в последний месяц, вдруг отступила куда-то, и суеверно обрадовался этому: может, теперь-то всё закончится и образуется... Но тут вспомнил, что Ляхова убили, у-би-ли, а значит, где-то рядом, среди тех, с кем он делил не раз и радость, и горе, – убийца. И это было непостижимо его уму и сердцу: нет, не мог никто убить, нет у него в бригаде убийц, может, Ляхов сам... Скорее всего сам и застрелился... Но где же тогда винтовка, из которой он застрелился, задал себе вопрос Петухов и не смог на него ответить.

Вернулся с улицы следователь. Походил по вагончику, греясь, потом снял с рации настольную лампу, поставил на угол стола, сел, положив руки на листы бумаги, повертел ручку с обкусанным колпачком, сказал:

– Ну что, Иван Петрович, начнём с вас... Расскажите, когда произошла ваша последняя встреча с Ляховым?

– ...Пришёл он ко мне. Время было позднее, где-то около двенадцати, я кумекал над разрезом, думал, как лучше аварию ликвидировать, вот он и зашёл в это время. Сказал, что плохо себя чувствует и хочет уехать домой.

– Это было ночью, как же он мог добраться домой?

– Утром хотел. По дороге лесовозы ходят, с ними можно до станции, а там на товарняках и до посёлка...

– Продолжайте, пожалуйста...

– А я, собственно, уже всё рассказал. Он отпросился, я отпустил.

Честно говоря, не хотел, но Ляхов такой человек, если что вбил в голову, не переубедишь. Поэтому задерживать его я не стал.

– Вы не заметили, в каком состоянии он находился?.. Только не спешите, подумайте.

– Вообще, он всю заездку как-то странно себя вёл: ругался с мужиками, всё время злой ходил... Правда, в его смену авария случилась, может, поэтому?

– А какие отношения у него были с окружающими?

– Вы знаете, товарищ следователь, неважные отношения. Тяжёлый он человек был по характеру, недобрый, хотя о покойниках не принято плохое говорить, но вот не могу не сказать. Со мной ругался, слишком уж он хватким, что ли, мужиком был...

– Говорите так, как думаете, это очень важно.

– Хорошо. Так вот, рвач он был, хотя и в передовиках ходил. Всё в жизни у него на деньгах держалось. По деньгам и людей мерил. Вот по этой причине и столкновения бывали у меня с ним и у Коробова, бурильщика другой вахты...

– Какие столкновения?

– Они с самого начала что-то не поделили, не разговаривали, друг друга не замечали. Ляхов, если какие-нибудь производственные промахи видел, всегда доносил...

– Докладывал.

– Доносил... Я ведь понимаю: надо говорить, как думаю. Так вот с Коробовым они вроде в окопной войне были. Со своим помбуром, Устином Мокиным, без конфликтов жили, но особой близости я не замечал, а вот с верховым – Евгений Зотов у него верховой – конфликтовал всё время. Почему, не знаю, но смотрели друг на друга косо...

Я ведь понимаю, вас прежде всего интересует, кто убить его мог, так прямо скажу, многих он чем-то обидел. Такой человек был...

– Что вы делали после того, как Ляхов ушёл?

– Над разрезом покумекал, хотя настроения уже не было... Вышел на улицу покурить. Вот здесь, под окошечком, встал и стоял. Я видел, товарищ следователь, как Ляхов к дороге пошёл. Ушёл и обратно не возвращался. А потом его смена кончилась, Коробов со своими заступил. Устин с Зотовым в столовую пошли перекусить. Устин ещё что-то там уронил, мы ночью повариху не тревожим, сами обслуживаем себя, а Зотов засмеялся...

– О чём они говорили, вы не слышали?

– Да мы частенько говорим друг другу всякую всячину, и мне бы не хотелось, чтобы мои слова навели вас на неправильный путь...

Слышал я, как Зотов сказал Устину, что поругался с бурильщиком и не простит ему этого, а Мокин стал говорить, что на него не стоит обращать внимания... Ладно, чего уж там, – махнул рукой Петухов. – Возвращался ещё Ляхов, часа в два ночи меня поднял. Извинился и сказал, что останется на буровой. Ну а я сказал, что на буровой он не нужен, может уходить, как и собирался, в посёлок. Он пригрозил, что я пожалею об этом, и ушёл.

– Пошёл к себе в вагончик?

– Не знаю. Я наружу больше не выходил до утра. Только давайте я заявление сделаю, или как там полагается, вот пусть с меня как хотят спросят, если я лгу: я лично никакого отношения к убийству не имею.

– Утром что вы делали?

– Утром начальство прилетело, и всё остальное время с ними был...

– Распишитесь, пожалуйста, вот здесь...

9 сентября. Ночь

– Присаживайтесь, Фёдор Васильевич, извините, что среди ночи вас вызвал.

– Какое там извинение, что я, не понимаю? Да и ночь на ночь не похожа, никто не спит.

Коробов подхватил стул за спинку, хотел поставить в сторонке, по-ближе к двери, но Крюк перехватил его руку, мягко, но настойчиво забрал стул, вернул на старое место, в светлый круг, падающий от настольной лампы.

– Присаживайтесь, – официальным, холодным голосом повторил он.

Коробов сел, огляделся.

Хотя он часто бывал в вагончике мастера, сейчас ему казалось, что попал в совершенно незнакомое помещение. Стояли те же рация, и кровать, и стол, но всё же всё неуловимо изменилось. Не было и Петухова, без которого вагончик совсем утратил своё назначение и название. Петухов сейчас курил на улице или ушёл на буровую, придётся ему теперь гулять целую ночь, потому что следователь решил всю ночь разговаривать без свидетелей.

– Вы знаете, зачем я вас пригласил?

Коробов кивнул. Петухов, провожая его до дверей конторы, посоветовал:

– Ты сразу всё выкладывай, молодой, но цепкий лейтенантик, под стать фамилии. – И после паузы спросил: – Как ты думаешь, кто его?..

Коробов пожал плечами.

– Неприятно это всё, – сказал Петухов. – Я детективы люблю, так там в такие минуты все начинают меняться, всякая дрянь наружу лезет...

– Фёдор Васильевич, почему вы не ладили с Ляховым?

Следователь подвинул ближе лист бумаги, отпил глоток холодного крепкого чая. Коробов подумал, что тот, наверное, очень устал и что он молод, как ему объяснить то, что самому ему непонятно, как рассказать, почему он не любил Ляхова...

– Не ладили мы, – сказал он. – Причин вроде бы не было, но знаете, бывает иногда так, не нравится человек – и всё...

Коробов улыбнулся и подумал, что улыбка эта сейчас не к месту.

– Угрожал он вам?

– Нет, этого не было.

– Что вы знаете о его отношениях с другими, например... – Крюк заглянул в лист, лежащий в стороне, – с помощником бурильщика Устином Мокиным?

– Вроде бы нормально жили, ничего не замечал... Вот только недели три как... да, точно, пару заездок назад, зашёл я в вагончик, они вдвоём там были, и похоже, ругались.

– Почему вы так думаете?

– Я вошёл, Ляхов стоял ко мне спиной, а Устин, то есть Мокин, возле окна, и глаза у него такие были... знаете, злые... Ляхов обернулся и крикнул что-то вроде того, чтобы не мешали, потом увидел, что это я – а мне Устин нужен был, насос мы тогда ремонтировали, а ключи он куда-то спрятал, – увидел меня и сам вышел из вагончика.

– И вы не знаете, что произошло между ними?

Коробов покачал головой.

Крюк отпил ещё глоток из закопчённой кружки, служившей Петухову не на одной рыбалке и охоте, поморщился от горечи, разлившейся во рту. Может быть, всё бросить, думал он, не зная, о чём ещё спрашивать, не видя ни одного факта, за который можно было бы зацепиться.

Несколько часов назад казалось, что всё будет просто, нужно только найти человека, с которым Ляхов был в плохих отношениях, но выяснилось, что проще было бы найти человека, у которого отношения с убитым были хорошие.

И вдруг он поймал себя на мысли, которая отбирала последнюю надежду: а если Ляхова убил кто-то, не имеющий никакого отношения к буровой? Дорога рядом, лесовозы...

– Может, кто приходил к Ляхову? Были в эти дни на буровой посторонние?

– Нет, не видел. Не было, точно, иначе ребята сказали бы, тут ведь все на виду, тем более новый человек.

– Лесовозы часто ходят по дороге?

– Сейчас нечасто, машин пять-семь в день. Ночью пореже. – И, догадываясь, что интересуется следователя, Коробов добавил: – Но они к нам на буровую обычно не заходят, мимо гонят, спешат. Если только кто поломается или что-нибудь понадобится... Только такого давно не случалось.

Коробов молчал.

Молчал и Крюк. Он не знал, о чём ещё спросить бурильщика, в то время как Коробова так и подмывало рассказать о том, что он знал.

Но Петухов прав, надо ли ворошить весь мусор, кому от этого будет лучше. Ну, найдут убийцу, им окажется кто-нибудь из тех, с кем проработал плечом к плечу не один год, кого знаешь до кончиков ногтей, и уверен, что не из подлости и корысти поднял тот руку, не звериная это натура продиктовала... Вот почему ему, Коробову, совсем не жалко Ляхова. Вернее,

жалко, но как-то легко, больше от странности, что того больше нет, вообще нет такого человека. Сам факт небытия его, в то время как ты живёшь, вызывает жалость к погибшему...

Хотя, какая ерунда приходит в голову, человека-то нет...

– Товарищ следователь, может, это никакого отношения не имеет, но последнее время не совсем ладно было между Ляховым и Мокиным. Утверждать не могу, но вроде жена Мокина к Ляхову что-то испытывала...

– Они были близки?

– Этого не знаю. Может, зря сказал, но вот сказал уж...

– Я вас понял, товарищ Коробов, – сказал Крюк, делая пометку на листе. – Спасибо. И пригласите ко мне, пожалуйста, вашего верхового...

Допрос Лёши-Правдоискателя и студента ничего нового не дал.

Оставшись один, Крюк набросал на листке схему своей версии. Получалось, что, если отбросить возможность убийства посторонним человеком, наиболее подозрительны две фигуры: Устин Мокин, который мог столкнуться с Ляховым из-за жены, хотя, кроме Коробова, никто этого не подтвердил и неясно было, как и когда могли встретиться Мокин и Ляхов, если первый был всё время на буровой и даже ночью заходил в дизельное помещение, а второй ушёл до конца смены. Петухов говорит, что он возвращался в два часа ночи. Мокин поднимался на буровую под утро. Где он был эти два часа, нужно было выяснить.

Вторым подозреваемым был Зотов. Бывший уголовник, вспыльчив, частенько сталкивался с Ляховым. Запрос на него Крюк уже заготовил и собирался передать утром по рации.

И ещё Цыганок.

Если убийство произошло ночью, то у Цыганка полнейшее алиби, а если нет, то он тоже попадал в число подозреваемых. Но его Крюк решил пока не допрашивать.

Не стал он вызывать и жену Мокина, попросил Петухова осторожно выяснить, ночевали ли в ту ночь у неё муж, и вызвал на допрос Мокина.

Мокин вошёл, поздоровался, подождав приглашения, опустил на стул. Некоторое время Крюк молчал, разглядывая его. Был Мокин широк в плечах, флегматичен. Тяжеловатое лицо казалось длинным из-за глубоких складок. Кожа коричневатого цвета, обычно такой она бывает у людей, много времени проводящих на улице. Глаза тёмные, цепкие. Крюк перевёл взгляд на руки: они спокойно лежали на коленях, крупные, согнутые в пальцах руки с пятнышками несмываемой металлической пыли.

– Что вы делали в ту ночь, когда Ляхов ушёл с буровой? – задал первый вопрос Крюк.

Мокин помолчал, медленно, взвешивая каждое слово, начал рассказывать.

– Когда Ляхов, значит, ушёл, мы сдали смену с верховым и пошли в столовую. Там перекусили, потом пошли отдыхать.

Он выжидательно посмотрел на следователя, дескать, что ещё интересует, и Крюк отвернулся к окну, собираясь с мыслями: судя по всему, Мокин сам много говорить не будет.

– Ваша жена работает здесь поварихой?

– Да.

– Вы в ту ночь пошли к ней в вагончик?

– Сначала, значит, я к ней зашёл, ну а потом к себе...

– Долго были у жены?

– Нет, недолго.

– А сколько, не помните?

– Думаю, с полчаса...

– Хорошо, а дальше?

– Пришёл к себе, лёг спать.

– И сразу уснули?

– Нет, не сразу. Сосед мой, Зотов, проснулся, стал курить. Потом, значит, на улицу пошёл. Я уснул, а он вернулся, мелкашку ещё уронил, она загремела, я, значит, проснулся. А потом уже не спалось, пошёл на буровую.

– А Зотов, когда выходил, одевался?

– Не помню... Кажется, сапоги надел и телогрейку, сентябрь же, холодно...

– И долго его не было?

– Этого не могу сказать, уснул, а долго спал или нет, не знаю.

– И на часы не посмотрели?

– А зачем? До утра было ещё далеко, на смену не опаздывал.

– Скажите, Мокин, между вашей женой и Ляховым...

Мокин опустил глаза, на скулах у него заходили желваки, сказал: – Может, что и было, но это дело уж наше, семейное, мы сами, значит, и разберёмся.

– Дело-то семейное. Только вот Ляхова убили, и может, это сделали именно вы. .

– Может, и я, – спокойно согласился Мокин. – А может, кто другой.

– А если вы, напоминая: чистосердечное признание облегчит наказание...

– Не в чем признаваться, – сказал Мокин.

– Хорошо, – после паузы произнёс Крюк. – Значит, Зотов ночью выходил и некоторое время отсутствовал. Мелкокалиберную винтовку он брал с собой?

– Откуда я знаю? Винтовка его, он и распоряжается.

– И вы не видели?

– Не видел.

– А как относился Зотов к Ляхову?

– Плохо... Не любили они, значит, друг друга. А почему, не могу сказать, не знаю, не интересовался.

– А что произошло вечером?

– Вечером?... А что произошло?

– Что вам сказал Зотов в столовой?

– А, в столовой... Поругались они в тот вечер с Ляховым, вот Зотов и сказал об этом.

Мокин помолчал, потом добавил:

– А ещё он сторяча сказал, что не жить кому-то из них.

– Именно так и сказал?

– Да.

Крюк вспомнил, что ему говорил Правдоискатель о ночном крике, и неожиданно для самого себя спросил:

– Мокин, а почему ваша жена ночью плакала?

Мокин поднял на следователя глаза, Крюку показалось, что тот улыбается.

– Семейное это дело... Ударил я её тогда. Баба есть баба, поучил малость.

– За что же?

– Так за что мужик бабу учит... Ужин не понравился, значит, или обхождение, или глянет не так... Это, товарищ следователь, самое сложное, значит, дело, семейная жизнь. Тут всякое бывает... Вот вы говорили, что моя жена вроде с Ляховым... А теперь, значит, представьте себя на моём месте, что бы вы сделали?... Я вот бабу побил.

Чтобы разговоров таких не было. Может, и не виновата, а разговоры, значит, идут, надо что-то делать...

– А Ляхова не убивали?

– Что мне грех на душу брать...

– Идите.

Мокин вышел.

В окне мелькнул Петухов, постучал.

– Можно, – улыбнулся Крюк. – Хозяину всегда можно, что вы так робко, Иван Петрович.
– Да вас разве поймёшь, то одно, то другое... У Мокиной я был. Заходил к ней Устин, ненадолго. Плачет баба, бил он её...

– Может, вызвать, допросить? – неожиданно для себя спросил Крюк.

– Сейчас не надо, – покачал головой Петухов. – Истерика у неё. Пускай успокоится. Да и вам отдохнуть надо, вон уже ночь на излёте, солнце поднимается.

Крюк посмотрел в окно: действительно, уже начинался серый рассвет. Он выключил лампу, потянулся.

– Может, вздремнёте часик? – пожалел его Петухов.

– Надо ещё Зотова допросить, а потом уже передохну...

– Ну как? – полюбопытствовал Петухов.

Крюк опять улыбнулся, так наивно прозвучал вопрос мастера, покачал головой.

– Да, это дело такое, – задумчиво произнёс Петухов. – Я вот и так и сяк кручу. Женька вот мог убить, были у них всякие вопросы. У Устина с жинкой не всё ясно. Коробов, тот не мог... хотя и мог... Студент вот, и тот мог бы, да пацан ещё...

– Ну, вы мне сейчас наговорите, что я совсем запутаюсь, – засмеялся Крюк. – Давайте лучше Зотова ко мне...

– Что вы делали ночью, когда ушёл с буровой Ляхов?

– Что я делал, гражданин следователь? Ночью спят обычно, я вот тоже это делал.

– Я спрашиваю, Зотов, вы ночью выходили на улицу?

– Выходил?... Ну, если и выходил, так по нужде, больше мне незачем.

– Странная ночь у вас была, не правда ли... Сначала Мокин гуляет, потом вы, затем опять Мокин...

– У каждого свои дела, начальник, Мокин к жене ходил, а вот во второй раз чтобы он выходил, я не помню, говорить не буду, так и запишите, а то ведь так человека и под срок подведу. Я ваши вопросы знаю, гражданин следователь, они всегда со смыслом. Не видел я, чтобы выходил Мокин, точка.

– А вы куда выходили?

– Я уже говорил, по нужде выходил, по большой, недалеко от вагончика, знаете, где у нас сортир?..

– Вы мне про сортир не рассказывайте, я спрашиваю, Зотов, зачем вы винтовочку с собой взяли, между прочим, не зарегистрированную, которую я у вас и конфискую, да ещё, если желаете, срок выпишу...

– Ах, вот оно что... Выходит, всё знает гражданин следователь. Всё про всех. Я вот в который раз с вашим братом встречаюсь, а удивляться не перестаю, вроде такие же люди, как и все, а ведь в такие дыры нос засунут... Нет, вы не примите это на свой счет, это я образно, у меня к вашей должности особое почтение. Так вот по существу: было дело, проснулся я ночью оттого, что приснилось, будто глухарь на сосне, что возле сортира, сидит. Нелепый сон, конечно, но вот как живой сидит и глазами вращает... Вот я и проснулся от такой наглости. Проснулся и думаю, а вдруг сон в руку, прихватил мелкашку да и вышел. И, между прочим, эту самую мелкашку я нашёл... В тайге кто-то потерял...

– И был глухарь?

– Не было... Не было, гражданин начальник, обманул сон.

– Не было... И про винтовку складно... Может, что-нибудь ещё расскажете... из серии снов?

– Да уж что рассказывать... Я ведь знаю, что с вами шутить нельзя, догадываюсь – дело шьёте, начальник, в тяжеловесы пишете: винтовка моя, ночью выходил, знаете, что вечером с Ляховым поругался, угрожал ему... Знаю, гражданин следователь, вашу логику и что за штука

неопровержимость фактов, знаю, учёный... Так я вам так скажу, Ляхова мог убить и я, паскуда он, а не человек, мог, но не успел.

– А всё-таки могли, Зотов. И как язык поворачивается сознаваться в этом...

– Так люди-то разные, гражданин начальник. Такого, как Ляхов был, не жалко. Вы вот тут день всего и думаете: вам все всё рассказывают. Как бы не так. Никому не хочется душу перед милицией распахивать. Я лично к вам за защитой не пойду.

– А вы за всех не говорите.

– Ладно, не за всех, за себя только. Так вот, сказал вам Устин, как зубами по ночам скрипит и не знает, что делать: жена его глаз с Ляхова не спускает. А им, между прочим, каждую вахту вместе на буровой быть приходится. Да я бы на его месте давно уже что-нибудь Ляхову на голову опустил... Или тот же Коробов. Мужик правильный вроде, а вот есть в нём червоточинка, по-вашему если говорить, а такие в одной стае вдвоём не летают, не могут... Правдоискатель – праведник у нас, да и тот порой так на Ляхова глядел, что впору было дуэльные пистолеты подавать...

– Грамотный ты, Зотов, слушаю тебя и удивляюсь: работаешь помбуром, а говоришь, словно вуз гуманитарный закончил...

– Чего не было, того не было. Только я ведь, гражданин начальник, отдыхал долго, там и почитал книжек.

– Знаю, что за отдых был. Но давай ближе, по существу. Значит, Ляхова ты не убивал?

– Нет.

– Вот видишь как, Зотов. По-твоему, все люди честные, правильные, кроме Ляхова, а его вот убили, и никто не сознаётся. Почему бы не признаться, не облегчить свою участь?

– Э, гражданин начальник, как все вы... Да я, например, не пришёл бы к вам. Ждал, не убегал бы никуда, но не пришёл. И знаете почему?... А я так бы думал: убил-то я подлеца, значит, не убил, а наказал, а если так, то от людей должно быть мне вознаграждение, а не наказание, зачем же я голову в петлю сам совать стану, подожду, авось Бог поможет...

– Ты же в бога не веришь, Зотов?

– Так я образно, в данном случае я судьбу имел в виду... Ну, ладно, что мы разговоры разговариваем, вон уже утро, спать хочется, сегодня, поди, нас отпустите домой...

– Что ещё ты можешь сказать по существу?

– Да ничего, кроме того, что зря дело мне вяжешь, начальник.

А винтовочку найденную забирай.

– Мудр ты, Зотов, как старик. Или как актёр.

– Так я в зоне в художественной самодеятельности был.

– Иди, – оборвал его Крюк. – А винтовочку... Ты вот что, сам её повезёшь, со мной...

9 сентября. День

Утро уже набирало силу, когда следователь Крюк вышел на улицу.

Покрытая изморозью стена вагончика под солнечными лучами из седой становилась серой, потом чёрной, обманывая своим весенним таянием, но, стоило поднять голову, взглянуть на обнажившуюся тайгу, чтобы избавиться от иллюзии. Только гул дизелей да неустанное движение металлических труб в решётке буровой вышки не были иллюзией, и Крюк подумал, что в его работе трудно порой увидеть даже вот такое большое, как эта вышка, а принимаешь за истинное тающую осеннюю изморозь. И не чувствовал себя Крюк сейчас борцом за справедливость.

Это настроение было недолгим, он быстро справился с ним, но всё-таки оно было, недопустимое настроение его неправомочности судить любого из этих людей. Он влезал в их судьбы, непрошенный, незванный, оценивал, пытался разрубить завязанные не им узлы.

А гуманно ли то, что он делает, не насилие ли это?

Да, насилие, подумал он, но как же иначе наказывать?

Да, пусть Ляхов был негодяем, он приносил горе, был источником эпидемии озлобленности, гораздо более опасной, чем эпидемия гриппа, пусть так, но ведь он был человеком. И подняли руку на жизнь человека...

Гуманно ли это?

Но ведь тогда получается, что и он не вправе распоряжаться чьей-либо жизнью...

Действительно, запутаешься.

Но что его собственно занесло туда, куда не надо. Он – слуга закона.

Закон охраняет в данном случае личность. Вот всё и встало на свои места: он защищает личность, а она была уничтожена. Значит, следует возмездие, вполне справедливое наказание. Меру вины определит суд, другие люди, его дело – найти убийцу и представить все доказательства.

И надо делать своё дело, а о гуманизме думать в нерабочее время...

Так кто же убил Ляхова?

Мокин или Зотов?... Зотов или Мокин... Больше он никого не видит...

Но кто же из них?..

Крюк поднялся на буровую. У лебёдки стоял вчерашний длиннорукий мужчина. «Свиридов», вспомнил его фамилию Крюк. Тот подмигнул следователю, не поднимая глаз на спускающуюся свечу, бросил рычаг тормоза вниз, когда, казалось, элеватор расплющится о металлический круг ротора, бросил ловко, отточенным движением и снова подмигнул, пока помбур отцеплял элеватор, потом откинул рычаг и, выставив вперёд правую ногу, крикнул:

– Лейтенант, на-ко, поддержи, может, пригодится...

Крюк не нашёлся, что ответить, улыбнулся и медленно спустился вниз.

Мокин или Зотов, думал он и никак не мог решить, кто же убил Ляхова.

Он вспомнил, как сидели перед ним тот и другой. Спокойствие Мокина и нервозность Зотова. Немногословность и многословие.

И первое и второе могло свидетельствовать о волнении.

Вообще-то, убийца спокойным не бывает, этому Крюка в университете учили. На этом строится множество вариантов обнаружения.

Значит, классическая схема.

В крайнем случае, если я не прав – скажу, что проверка, подумал он.

Мысль была нечестная, нехорошая, недопустимая для человека, служащего закону, но Крюк постарался отмахнуться от неё, уйдя в технику проведения следственного эксперимента, обдумывая детали.

Так он дошёл до конторы и встретил осунувшегося, ещё более ссутулившегося мастера. Тот стоял у двери и так жалобно смотрел на Крюка, что он невольно похлопал Петухова по плечу, хотя это выглядело нелепо: Петухов был старше его вдвое, – и сказал:

– Зовите ко мне Зотова. С вещами. А остальные могут ехать домой.

– Зотов? – удивился Петухов. – Зотов... Ну что ж...

– Да, как там с вертолётom? – крикнул вдогонку следователь.

– Обещали после девяти.

– Хорошо. На вертолётe отправите тело Ляхова и меня с Зотовым.

Через несколько минут в вагончик вошёл Зотов, бросил в угол тощий рюкзак, посмотрел на Крюка долгим и, как тому показалось, сонным взглядом.

– Эх, начальник, – вздохнул он. – Верить бы надо. Я не говорил, что убил, а сказал только, что не успел. За это, я знаю, срока не дают.

– А ты, я вижу, Зотов, неплохо себя чувствуешь.

– Что мне расстраиваться, вы молодой, опыта мало, а дело, видать, первое, да поскорее раскрыть хочется, но там ведь в вашей конторе и другие сидят. А потом суд, а суду подавай неопровержимые доказательства, их-то у вас и нет. Так что посижу. Обидно, конечно.

– Зотов, скоро вертолёт будет, на нём и полетим. А пока можешь всё написать. Чисто-сердечное признание...

– Нечего писать, начальник, нечего, – сказал Зотов и закрыл глаза.

Крюк постоял над ним, потом сел за стол и стал смотреть в окно на буровую, падающие вниз трубы и поднимающиеся облачка дыма над лебёдкой. Он увидел, как на буровую поднялся Мокин, прошёл к лебёдке, Свиридов вышел в проём, прикуривая папиросу, а у рычага остался Мокин, опустил пару свечей, лихо, со свистом, потом спустился и пошёл в сторону конторы. И чем ближе он подходил, тем яснее Крюк понимал, зачем он сюда идёт, и всё поднимался и поднимался над столом, забыв, что Мокин тоже его видит, видит его глаза, и, когда Устин подошёл к окну, Крюк рванулся к двери, распахнул её как гостеприимный хозяин перед долгожданным гостем – Ждали, – выдохнул Мокин. – Пусть Женька идёт, там автобус ждёт, значит, ехать ребятам надо.

– Иди, Зотов, – сказал Крюк, хотя этого делать не полагалось, не он подчинялся этому человеку, а этот человек ему и даже не подчинялся, это был его враг, убийца, его соперник, которого он обыграл.

– Мокин, – сказал, выходя, Женька. – Устин... Зря ты...

Что зря, он не договорил, махнул рукой, пошёл, размахивая рюкзаком, и вышедший следом Крюк видел, как у автобуса его окружили мужики, заговорили о чём-то, покуривая и поглядывая в его сторону.

Он понял, что они ждут чего-то от него. Вернулся в вагончик, оглядел Мокина. Тот был спокоен так же, как ночью.

– Садитесь сюда, – сказал он, показывая место за столом. Поправил стопку чистых листов, положил ручку. – Пишите, как всё было. Пишите, Мокин. А я пойду с вашей женой поговорю.

– С женой не надо бы, значит, – просяще произнёс тот.

– Не могу, – развёл руками Крюк. – Обязан, гражданин Мокин, поговорить.

Мокин сел за стол и, опустив голову, начал писать.

Стараясь не замечать ждущих глаз мужиков, следовательно Крюк прошёл к женскому вагончику.

Татьяна Львовна лежала на своей постели, закутавшись в одеяло и невидящим взглядом упираясь в стену. Она не заметила прихода следователя, не ответила на его «здравствуйте» и никак не отреагировала на то, что он опустился около неё. И только когда Крюк после долгого молчания решил было выйти, подозревая, что с женщиной что-то произошло, она повернула голову и тихо сказала:

– Спрашивайте.

– Ваш муж там пишет, как всё случилось.

Татьяна Львовна кивнула, словно так же хорошо знала, что делает её муж, как и Крюк.

– Он убил его, – сказала она.

– Он убил Ляхова? – переспросил Крюк.

– Его никто не понимал, его никто не знал, не хотели понять, считали злым, чёрствым, а я... я его любила... Он не такой был, понимаете, не такой, как перед всеми. Он просто уже не мог с ними иначе...

– Успокойтесь, – погладил её Крюк по руке, которую она тут же спрятала под одеяло.

Он подумал, что Татьяна Львовна намного моложе своего мужа.

Её лицо не утратило ещё девичьей свежести, и только черты его несколько покрупнели.

– Не надо меня трогать, не надо... Я всё сама расскажу... Я никогда не любила мужа. Мы из одной деревни, жили через несколько дворов. Он старше на одиннадцать лет. Первая жена его бросила, сбежала, а через два года, я только школу закончила, меня сосватали. Не пьёт, не курит, мама уговорила, как за каменной стеной будешь, зачем тебе на судьбу гадать да какого-нибудь пьяницу кормить, иди... Я и пошла, не знала, что такое любовь-то... Только

вот с Витей... Он такой был, потому что не любил себя... И людей не любил... Он мне такого порассказывал про всех, а сам мучился... Сказал, что не может больше на буровой, что боится сорваться, что-нибудь натворить, подраться. Что возьмёт отпуск, а потом он должен был за границу ехать. Договорились, что через неделю мы встретимся, он обещал отвезти меня к своей матери, оставить там, ехать за границу с законной женой, а вернувшись, развестись. Говорил, что мать поймёт нас и поможет мне... Я... я плакала, когда он ушёл, тяжело было... А потом пришёл Устин. Сдёрнул меня с постели, ударил... Я закричала, а он сел вот так же, как вы, и сказал, что ненавидит меня, что всю жизнь я ему сломала. И ушёл.

– Больше он к вам не заходил?

– Нет... Но я слышала, как он ходил возле вагончика.

– Татьяна Львовна, а когда вы узнали, что он...

– Я чувствовала, что-то случилось, но поняла до конца, когда нашли... Виктора.

Она уткнулась в одеяло, сдерживая плач, её грудь то поднималась, то опускалась, и Крюку стало неудобно сидеть, задавать вопросы этой женщине.

Он хотел сопоставить то, что услышал сейчас о Ляхове, с уже известным и не мог: так это запутывало такое простое поначалу дело, и он понимал, что если попытается докопаться до истины, то потеряется в этих поисках...

– Виктор хотел извиниться перед всеми, начать жить иначе, – сказала Татьяна Львовна после паузы. – Он хотел признаться в своих махинациях и мастера. Говорил, что не тот опасен, кто грешит на виду, а тот, кто втайне и кто, осуждая грех, постоянно соблазняется им. Он Коробова называл лжеправедником. Он не любил студента за его послушность..

– А Зотова – за непокорность, – вставил Крюк и пожалел об этом.

– Вы не поймёте, – сказала Татьяна Львовна с болью в голосе. – Его никто не хочет понять...

– Я понимаю, Татьяна Львовна, вам тяжело сейчас: Ляхов, муж...

– Муж?.. У меня нет мужа.

– Сколько вам лет? – неожиданно спросил Крюк.

– Двадцать четыре.

– Татьяна Львовна, сейчас вертолёт будет, если хотите, вы можете попрощаться с мужем.

– Нет, – твёрдо сказала она. – Если вы хотите мне сделать добро, разрешите увидеть Виктора...

– Хорошо.

С тяжёлым сердцем возвращался к Мокину следователь Крюк.

С какой-то непонятной для самого себя виной перед этой женщиной.

Из объяснения Мокина Устина Евсеевича, 1945 года рождения:

«Я узнал о своей жене и Ляхове несколько недель назад. Ляхова ненавидел, но не думал, что убью его. Сначала я хотел уйти от жены, но не смог. Я узнал о Ляхове, потому что она называла его имя во сне. С Ляховым больше работать не мог, хотел уйти с буровой, но решил подождать, пока он уедет в Сирию, так как я привык к бригаде. Перед отъездом хотел поговорить с ним, предупредить, чтобы не вздумал возвращаться... В тот вечер я видел, как Ляхов пошёл к моей жене. И до конца смены думал лишь об одном, чтобы он никуда не ушёл, чтобы я встретил его у жены... Когда освободился, пошёл туда, но Ляхова не застал. Ударил жену. Пошёл к себе в вагончик, лёг, но спать не мог.

Проснулся Зотов, стал рассказывать про свой сон, глухаря, которого он увидел во сне, взял винтовку и вышел. Скоро вернулся, сказал, что никакого глухаря не оказалось, заснул. Я оделся, прихватил винтовку...

Я не собирался убивать Ляхова и объяснить, почему взял винтовку, не могу. Я шёл по тайге, было темно, я шёл и никого не думал встретить.

*Одному мне было легче, чем в вагончике и на людях. Несколько раз обошёл вышку и вдруг увидел Ляхова. Он выходил из конторы. Петухов ему что-то сказал, и Ляхов стал ругаться. Я стоял и думал, что если Ляхов пойдёт в мою сторону, я изобью его. Но он обошёл буровую и стал подниматься на дорогу. Я пошёл к ручью. Сел на берег, сполоснул лицо, попил воды и увидел Ляхова. Он шёл в мою сторону. Я видел, **как** он нагнулся, долго пил. Я сидел рядом, метрах в пяти, но он не видел меня. Напившись, поднялся, пошёл вдоль ручья, перепрыгнул его и исчез, я пошёл следом и вдруг увидел его снова. И он тоже увидел.*

Я вскинул винтовку. «Женька!» – крикнул он. Я выстрелил и промазал, хотя было очень близко. «Не надо!» – крикнул он, но я выстрелил второй раз, и он упал, пополз ко мне, шепча: «Не надо», – потом сорвался со склона... Когда я подошёл, он был мёртв. Вернулся на буровую, зашёл к ребятам. Хотел сразу сказать, что убил, но никто не спросил, что со мной случилось. Я не стал говорить. Потом ждал, когда его найдут, мне нужно было успеть поговорить с женой... Я многое понял, главное, что она меня никогда не полюбит... Записано с моих слов девятого сентября и мною подписано. Устин Евсеевич Мокин».

Автобус выбрался на грунтовку, когда над буровой появился вертолёт. Коробов подумал, что сейчас тот заберёт Устину, лейтенанта, труп Ляхова, понесёт свой груз в посёлок, с каждым мгновением удаляясь не только в пространстве, но и во времени, и каждое это мгновение будет постепенно отдалять пережитое, стирать в памяти неприятное, излечивать от непонятных угрызений совести, и скоро исчезнет и эта непонятная вина за равнодушие к живому и мёртвому...

Он посмотрел на Татьяну.

Та сидела, прижавшись лицом к стеклу, неподвижными глазами вглядываясь в осеннюю тайгу.

Студент завертел головой, толкнул сидящего рядом Лёшу-Правдоискателя, прошептал:

– Надо было остаться...

– Без нас справятся, – так же тихо ответил Правдоискатель. – Там Петухов, мужики...

По-людски-то надо бы...

Анатолий отвернулся, искоса взглянул на Татьяну Львовну. Он жалел её и не понимал.

Устина ему тоже было жалко.

И Ляхова.

Выходило, что всех ему жалко, и он понимал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать.

Так, молча, думая каждый о своём, проехали полдороги. Поднялись на крутой изгиб, разрезающий скалу. Отсюда было видно далеко-далеко. Была видна тайга, широкая лента Ангары и дальняя сопка, за которую уходила железная дорога и где был их посёлок, их дом. И опять увидели вертолёт, беззвучно улетающий к сопке.

Коробов прошёл вперёд к двери, достал папиросы. Закурили и остальные, разгоняя дым рукой, поглядывая на Татьяну Львовну...

На станции сбросили рюкзаки в угол, до поезда оставалось два часа и все молча пошли в ресторан. Лишь Татьяна Львовна с автобуса не пошла со всеми, а по деревянным тротуарам стала спускаться от станции в ту сторону, где виднелась река. Каждый проводил её взглядом, и каждый подумал одно и то же. И только Коробов, ни к кому не обращаясь, произнёс:

– Надо было бы приглядеть за ней, мало ли...

И Лёша-Правдоискатель, ни слова не говоря, пошёл следом.

...Лёша не было долго. Стали собираться уже к поезду, когда, наконец, он пришёл.

– Нет её нигде, – сказал он. – Значит, так и надо, значит, зачем же мешать...

– Иди ты... со своей философией, – не выдержал Коробов, и Цыганок тоже покачал головой:

– Не прав ты, Алексей, может, ей помочь нужно было. В горе человеку человек нужен...

Правдоискатель обиделся:

– Я, что ли не понимаю... Только некоторым в одиночестве лучше...

Не сговариваясь прошли в ресторан, заказали по сто граммов.

Выпили молча, не чокаясь.

За помин одной и за спасение другой души.

...На полустанке Сосновка было пустынно. Светились несколько далёких окон да фонари на главной улице. На перроне, кроме дежурного, виднелась тонкая девичья фигурка.

– Люба! – крикнул Анатолий, спускаясь по ступенькам.

Он помахал рукой, и девушка в ответ помахала и пошла вслед за вагоном.

Не ожидая, пока поезд остановится, Анатолий спрыгнул на перрон, обнял худенькие плечи, вдохнул пряный запах волос.

– Я по тебе соскучился, – прошептал он.

Не стесняясь подходивших мужиков, она обняла его за шею, поцеловала, и, взявшись за руки, они побежали вперёд.

– Я тебя каждый день ждала, – прошептала она...

– Нас-то уже встречались, – сказал Лёша, глядя им вслед.

Пройдя площадку перед переездом, стали расходиться.

Махнул рукой Женька, подался к себе в общежитие.

Потом свернул Цыганок. Стукнул в маленькое окно покосившегося белёного домика, куда четыре года назад попросился на ночлег, да так и остался. В окне показалось женское лицо и исчезло, звякнул крючок, и Цыганок вошёл в настоявшееся тепло.

– Не ждали, – широко улыбаясь, сказал он, сбрасывая рюкзак и стягивая грязные сапоги.

– Ждала, Ванечка. Умывайся, я тебе сейчас щей налью...

Правдоискателя его дом встретил тёмными окнами. Прежде чем подняться на крыльцо, он обошёл его, поправил выпавшую из отверстия в завалинке тряпку, потом стукнул петлёй по скобе. В доме было тихо, и он стукнул посильнее. Послышались шаги, завизжала дверь в сени, потом звонкий голос жены спросил:

– Кто там?

– Это я, – буркнул Леша.

– Алексей?

– Я.

Что-то загремело в сенях, жена зачертыхалась:

– Подожди, сейчас.

Он сел на крыльцо. В доме скрипели двери, визжали половицы, а он сидел на крыльце, смотрел на звёзды и ничего этого не слышал. Он думал, что, может быть, где-то там далеко, всё же встречаются души тех людей, которые умирают, и, может быть, сейчас туда добирается душа Ляхова. Он представил, какой долгий и трудный путь это, и пожалел идущих по нему.

...В это время подходил к своему дому Коробов. Около ярко горящего окнами дома Ляхова он замедлил шаги. Там слышались голоса и надрывный женский плач, и он, опустив голову, прошёл мимо.

Возле своего дома опустился на скамейку, достал папиросу.

Где-то играл баян. Тоскливая тягучая мелодия плыла по сонной улице, и Коробов подумал, что вот отчего-то и баянисту не спится, тоскует его душа, ищет выхода, рассказывает об одиночестве. Ему захотелось узнать, кто это играет, увидеть этого баяниста, поговорить с ним, может быть, рассказать многое из того, о чём он никогда никому не говорил и, наверное, не скажет... Но тут вспыхнул свет на веранде, вышла жена.

– Я думала, сегодня не приедешь, – сказала она.

– Как пацаны?

– Спят, что им делается. Выбегались за день.

Ждали – нет, хотел спросить Коробов, но только вздохнул и пошёл следом за женой...

В степи

– Равняйся! Смирно!

Комбат, впечатывая шаги в бетонные плиты плаца, пошёл вдоль строя.

– Та-а-ак... – он остановился. – Это что за партизаны?..

По шеренге прокатился смешок, но тут же стих.

– Что за сброд! – повысил голос комбат. – Ну-ка, подтянуть ремни!

Застегнуться...

Он устоял на парня обмундирование на котором готово было вот-вот лопнуть на крепких мышцах.

– А это что за гондон?..

В строю хохотнули.

– Отставить!.. Этого переодеть, – обернулся комбат к старшине. –

Найти всё по росту...

Через пару шагов вновь остановился.

– А это что за чучело?..

– Папаша,-подсказал кто-то.

– Папаша?.. На гражданке папаша – здесь рядовой.

– Ага, – буркнул седой мужчина с нависающим над ремнём животом.

– Не ага, а как?

– Так точно!

– Ещё не забыл... – Комбат оглядел шеренгу. – Что приуныли? На сорок дней от баб оторвали, не выдержите?

– Не-е... – прокатилось по шеренге.

– Кто это не выдержит, два шага вперёд... Кастрируем, так и домой не пожелает вернуться.

Комбат выждал, пока хохот стих.

– Полтора месяца отдохнёте от баб, от водки, здоровее будете.

– Сено косить надо, – вполголоса произнёс папаша.

– Сено? – крутанулся комбат. – А Родину защищать не надо?

– Так не от кого же пока.

– Вот именно, пока... – Комбат вскинул голову. – Отставить разговоры! Жаловаться можете взводным, они пусть мне попробуют. А кто особо жалоблив, того могу на пару месяцев задержать. Всё. Направо!

Шагом, арш!.. По машинам!

Цокая по плацу неразношенными сапогами, колонна затрусила к машинам.

Третий взвод разместился на пятой машине. Взводному уступили краешек скамейки у борта.

– Поехали! – зычно крикнули на первой машине, и кузов дёрнулся.

– Дрова что ли везёт... Водила, его душу... мать...

– Эй, полегче, постучи там ему по кумполу...

Машина, ещё раз дернувшись, остановилась.

– Ну, чего стучите? – недовольно выглянул из кабины безусый солдат-срочник.

– Полегче, сынок, полегче, – сказал ему седой мужчина. – Людей всё же везёшь.

Солдат поморщился. Ничего не ответив, захлопнул дверцу, но поехал медленнее, притормаживая на выбоинах.

Выехали за посёлок.

Проскочили километров двадцать по асфальтированной дороге, потом голова колонны круто свернула в сторону, спряталась в густом облаке пыли.

Теперь трясло нещадно. Взводный – молодой лейтенантик, получивший звание после военной кафедры в институте и не служивший в армии, сидел рядом с седым мужчиной, и когда на ухабах их бросало друг на друга, извинялся. Новоиспечённые солдаты матерились и торопливо курили, вдыхая вместе с дымом колючую пыль. У взводного першило в горле, но он стеснялся кашлять и жалел, что не курит и не умеет забористо выражать свои эмоции.

Наконец машина остановилась.

Солдаты, не ожидая команды, попрыгали вниз, отошли подальше в степь и завалились на хрустящую от пыли и жары траву.

Командир третьего взвода побежал к головной машине, где комбат уже что-то приказывал, отсылая офицеров энергичными движениями руки.

– Первый взвод первой роты, стройся! – закричали впереди.

– Второй взвод...

– Товарищ майор, а нам что делать?

Комбат оглядел взводного с головы до сапог, задержавшись на пилотке, погонах и ремне, взгляд его был холоден.

– Завтра в четырнадцать ноль-ноль ко мне с уставом, – сказал он. – Заправьтесь, и обратитесь, как положено.

Лицо взводного покраснело, он опустил глаза, поправил гимнастерку под ремнём, подобрался и неловко вскинул руку:

– Товарищ майор, командир третьего взвода второй роты лейтенант Кирилов. Какие будут приказания?

Комбат поморщился.

– Идите к взводу и ждите.

– Есть.

Кирилов резко повернулся и трусцой побежал к своей машине, чувствуя спиной презрительный взгляд.

...К вечеру расставили палатки. Их ровная линия прострочила брезентовыми куполами низину между двумя сопками. Задымила полевая кухня.

Со списком в руках Кирилов обошёл палатки третьего взвода, знакомясь с личным составом. Это были люди различных профессий в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, для которых на полтора месяца он становился командиром и которые, независимо от возраста, характеров и гражданских должностей, на этот же месяц становились его подчинёнными.

– Товарищ лейтенант, ещё бы матрасик, – попросил папаша, который, как уже знал Кирилов, был механизатором Владимиром Степановичем Щетининым. – У меня радикулит, а от земли всё-таки тянет.

– Я узнаю, – пообещал взводный.

– Нам бы ещё водочки, – сказал Стеклов, тот самый, которого комбат приказал переобмундировать. – Как положено по прибытию. – И с насмешкой посмотрел на Кирилова.

– У меня нет, – растерялся тот. – Я спрошу, и, если положено, принесу.

– Вот это дело, взводный, вот это по-нашему.

Пока солдаты строились на ужин, Кирилов тихо спросил у ротного, старшего лейтенанта Горбунца, на гражданке – старшего научного сотрудника, отслужившего в своё время действительную, о водке. Тот по-товарищески посоветовал интеллигентскую мягкотелость на полтора месяца оставить.

– Держи их на дистанции, – сказал Горбунец, – иначе сам за водкой бегать будешь.

– Постараюсь, – пообещал Кирилов.

После ужина опять построили всех на проверку.

Комбат сам обошёл все роты, отсутствующих записал в книжечку, пообещав приплюсовать к их службе ещё сорок дней, и скомандовал отбой.

...Проснулся Кирилов от близкого гудения машины. Казалось, мотор работал над самой головой и он, лёжа с открытыми глазами, долго ничего не мог понять.

Рядом зашевелился Григорьев, командир второго взвода, что-то невнятно сказал, сел на нары.

Приподнялся в своём углу ротный, выматерился вполголоса и стал натягивать штаны.

Кирилов в темноте нащупал сапоги, всунул босые ноги, вышел вслед за ротным.

Рядом с соседней палаткой, чуть не касаясь её колёсами, стоял «Урал». В свете его фар Кирилов увидел солдат, размахивающих руками, потом кого-то вытащили из кабинки и стали бить. Ротный побежал к машине, но, не выходя на свет, остановился, придерживал за руку Кирилова.

– Не лезь, – сказал он. – За дело бьют.

Били пьяного прапорщика, вытасченного из-за руля «Урала». Покачиваясь, тот закрывал лицо и поскуливал.

– Ишь ты, гад, чуть не подавил всех, – выкрикнул Стеклов и, не сдерживаясь ударил прапорщика по скуле так, что тот свалился с ног.

Солдаты рванулись в лежащему, но вперёд вышел Щетинин, раскинул руки.

– Хватит, – сказал он. – Поучили и будет. – Повернулся к Стеклову. –

А ты машину отгони в сторону да заглуши.

– Ладно.

Горбунец кашлянул и вышел на свет.

– Что случилось? – строго спросил он. – В чём дело?

– Да вот, поучили тут одного, – отозвался Щетинин. – Прапор пьяный, чуть не подавил всех.

Прапорщик поскуливал и пьяно ругался.

– Но руками, как я понимаю, никто не трогал. Сам неудачно упал, – многозначительно произнёс Горбунец. – Отгоните машину и сделайте так, чтобы никто её больше не завёл. И спать всем.

Солдаты стали расходиться.

Стеклов отогнал «Урал» подальше от палаток.

– Осуждаешь? – спросил ротный Кирилова.

Тот промолчал.

– Где работаешь?

– В конструкторском.

– Понятно. Год назад закончил?

– Ага.

– Не женат?

– Женат, – Кирилов почувствовал, как щекам стало жарко, и торопливо попросил: – Дайте папироску.

Горбунец протянул «беломорину», Кирилов прикурил от его огонька. Во рту стало горько, он прокашлялся, помедлил и отбросил папиросу в сторону.

– Не курю, – признался виновато. – Почему-то вот попросил... Месяц как женился... Она ещё учится, диплом будет скоро защищать, а я... а меня вот сюда...

– Всего месяц назад?

– Да.

– Не повезло, – вздохнул Горбунец, – не повезло тебе, лейтенант... Хотя мне тоже. Жена через две недели рожать должна. Второго сына жду, а тут... В резерве вроде был, да как водится

– в последнюю минуту знакомый военкома остался, а я пошёл. Хорошо, тёща приехала, поможет.

Ротный помолчал, потом вошёл в палатку, и Кирилов слышал, как он, тяжело вздыхая, лёг на нары.

На следующий день с запада потянули низкие тучи. Они всё наливались чернотой и наконец прорвались холодным дождём. Сильнее подул ветер, и к вечеру стало не по-летнему прохладно. Комбат уехал в посёлок в часть, оставив за себя командира первой роты – кадрового старшего лейтенанта Григорьева. Он, отменный строевик, участвовавший в нескольких парадах на Красной площади, прослуживший после училища три года в московском гарнизоне, не знал, что делать, и солдаты, предоставленные самим себе, в палатках играли в невесть откуда взявшиеся карты или дремали.

Среди ночи стало ощутимо холодно. Первым оделся и залез под одеяло с головой Григорьев, потом Кирилов. Дольше всех крепился Горбунец, но в конце концов и он не выдержал. Дрожа от холода, Кирилов вспомнил Щетинина и его просьбу о матрасе, которую он так и не выполнил. Подумал, что навсегда потерял всякое уважение со стороны солдат и решительно полез с нар.

Заглянув в палатку отделения Щетинина, он долго привыкал к крошечной темноте, пока не различил фигуры спящих солдат. Они лежали на середине, оставив с краёв пустые настилы, прижавшись друг к другу так, что трудно было определить, где кто.

Кирилов вышел под дождь, добежал до своей палатки и, стуча зубами, полез под бочок к ротному, недовольно ворчащему что-то неразборчивое. «Завтра отнесу свой матрац», – решил Кирилов...

С утра небо посветлело, но ненадолго, снова собрался дождь и Григорьев тоже уехал в посёлок, оставив за себя Горбунца.

После обеда привезли шинели и одеяла.

Кирилов сам отнёс два одеяла Щетинину.

– Ну что вы, товарищ лейтенант, – сказал тот, по-хозяйски разглядывая и ощупывая новую шинель. – Мне тут и так уже ребята понатаскали.

– Ничего, лишним не будет.

– Оно, конечно. Гляжу вот на шинелку, хорошая, новая. Нам можно было бы похуже, всё-таки на месяц. А так ухайдакаем – хоть выбрасывай потом.

– Положено, наверное, так, – Кирилов тоже оглядел свою новенькую офицерскую шинель.

– Много кой чего положено, да вот берём напрасно, – отозвался Щетинин. – Дома мы всё бережём.

– А тут армия, товарищ Щетинин, не дом, – бодро произнёс Кирилов. – Дают новые – надо носить.

– Оно, конечно...

...Дождь лил всю первую неделю. С утра до вечера солдаты сидели в палатках, выходя лишь на завтрак, обед и ужин к полевой кухне.

Шли длинной нестройной колонной, гремя котелками, спрятав лица в поднятые воротники, откидывая мокрые полы шинелей и, завидев Кирилова, обязательно кто-нибудь из его взвода спрашивал:

– Товарищ взводный, скоро распустят, а? Делать всё одно нечего.

Попростываем тут все.

– Не знаю. Говорят, ученья будут, вот только погода наладится.

Вроде маршал должен приехать.

– Лейтенант, неужели к невесте не хочется?

– Женат он, дура.

– Тогда к жене.

– Не задевай, иди, иди...

– Хочется, – не краснея, отвечал Кирилов. – Хочется, как и вам, но служба есть служба. За эти дни в офицерской палатке всё уже переговорили, всё перечитали, наигрались в карты, излили все свои ощущения и мечты в письмах.

Горбунец нервничал – от жены не было никаких вестей.

– Ты бы отпросился на пару дней, – посоветовал ему командир второго взвода Головаха, рассудительный, полноватый украинец. – Всё равно ничего не делаем. Напиши рапорт – отпустят.

– В самом деле, – поддержал Григорьев. – Дело тебе советуют, ротный.

– А ну их, – скрежетал зубами Горбунец и, отворачиваясь к стене, закуривал новую папиросу. – Душу травить на пару дней, а перед этим каждому докладываться...

...Комбат приехал к концу первой недели, в пять часов утра. Всё так же моросил дождь, сочившиеся сквозь брезент капли лениво падали на нары. В палатках держался устойчивый запах прелых шинелей. Кирилов проснулся от резкого и громкого голоса комбата. Он сел, с тоской отметив всё тот же шорох дождя. Ротный, уже в шинели, застёгивал ремень, быстро одевались и другие офицеры.

– Подъём! – катилось по лагерю. – Подъём!.. Подъём!..

Комбат с офицерами стоял на маленьком бугорке и разглядывал лагерь. Был он в новенькой плащ-палатке, покрытой пока лишь мелкими каплями дождя. Из-под неё выглядывал белый подворотничок.

Кирилов подумал, что стирает, гладит и пришивает их ему жена, пока он пьёт кофе.

Солдаты недовольно выходили из палаток, становились в строй.

Комбат подождал, пока стало тише и громко сказал:

– Что приуныли, соколы? Затосковали?

Солдаты никак не реагировали на его слова, и Кирилов почувствовал, что его всё в майоре раздражает.

Он посмотрел на Горбунца, Щетинина, Стеклова, и на их лицах увидел тоже раздражение.

Комбат выдержал паузу, покачался с носка на пятку, и Кирилов, и вся первая шеренга отметила его блестящие, чистые, словно он не дошёл от машины до этого места, а пролетел по воздуху – сапоги.

– Знаю, холодно, сыро, домой хочется, там заждались вас перины...

Приказываю! – Он посмотрел на часы. – В шесть ноль-ноль всем ротам быть готовыми к выступлению. Лагерь снять, следы замаскировать. Вольно! Разойтись! Товарищи офицеры, прошу ко мне.

...Через час колонна, натужно ревя моторами, ползла по хлюпающей степи дальше, в сопки. Мощные «Уралы» то и дело буксовали в грязи, растерянных молоденьких срочников меняли за рулем опытные шофёры. Стеклов вёл сначала машину в середине колонны, но на одной из остановок, матерясь, пробежал вперёд, к головной, долго кричал на испуганного ефрейтора, кусавшего побелевшие губы, потом сел на его место. Колонна сразу пошла увереннее и без остановок.

– Шофёр-то он хороший, – сказал Щетинин взводному.

Кирилов посадил его с собой в кабину. Другие офицеры ехали в кабинах по одному.

– Не то, что ребятишки эти. А техника у них... Нам бы в колхоз такую, горя не знали бы.

– Армия. Тут всё самое лучшее.

– Да-а, – протянул Щетинин. – Иначе вроде и нельзя, а всё одно завидно... Стеклов-то, дурь у него не выветрилась, но шофёр хороший.

Ехали часа три по долине, потом узик комбата полез в гору, и Стеклов вслух перемыл ему все косточки.

– Шутник у тебя начальник, – повернулся он к ефрейтору, когда подъехали к крутому подъёму. – Он думает, что у меня не «Урал», а ангел с крылышками. Так и передай как-нибудь... – Прокричал в окно:– Ну, гляди, майор, застрянем, толкать сам будешь.

Он придавил акселератор, и машина, отбрасывая колесами красную глину, медленно поползла вперёд, пока не доползла до стоящего на более-менее пологой площадке комбата. Она почти ткнулась бампером в плащ-палатку, когда Стеклов, озорно улыбаясь, нажал на тормоза.

– Не дрейфит, – сказал он. – Ничего мужик.

За Стекловым на площадку проскочили ещё три машины. Четвёртая забуксовала в разъезженных колеях, и замёрзшие солдаты, облепив её, стали подталкивать. Потом выталкивали очередную машину из глубоких, прорытых колёсами канав.

Идущая за ней начала заворачивать в сторону.

– В объезд нельзя! – сказал комбат. – Там болото!..

И, перехватив удивлённые взгляды стоящих рядом офицеров: «Какое болото в степи?» – пояснил:

– По условиям тактической задачи болото, ясно?

– Так точно.

Офицеры разъяснили личному составу про болото.

– Чудит майор.

– Армия есть армия.

– Пупок задарма надрывать.

– Толкай давай, а то дух через рот выйдет.

– Раз-два, раз-два...

На десятой или одиннадцатой машине Щетинин, упирившийся в борт, вдруг охнул и, споткнувшись, отступил в сторону.

Кирилов подбежал к нему.

– Что с вами?

Щетинин, всё так же согнувшись, отошёл дальше в степь и неловко опустился набок.

– Что там? – услышал Кирилов голос комбата. – Толкайте, нечего рты разевать, не на базаре... Что там, лейтенант? Если симулирует – ко мне его, я лекарство пропишу.

– Что с вами, Щетинин?

– Радикулит, сынок, радикулит, – простонал Щетинин и закрыл глаза.

– Врача надо, – подбежал Кирилов к комбату. – Приступ радикулита.

– Солдаты, твою их... Ищите эскулапа, он где-то позади... Постой, лейтенант, куда спешишь? Бери двух солдат, на шинель его и вниз, к медицинской машине. Приказываю отправить в госпиталь.

– Есть.

Наконец вытолкнули все машины и начали устанавливать палатки.

На склоне ставить их было неудобно, но комбат сверял глазом осевые колья и за завалившиеся углы спуска не давал.

Только глубокой ночью ровная улица палаток наконец-то ему понравилась и, выстроив батальон, он всё тем же утренним свежим голосом прокричал:

– Молодцы солдаты! Объявляю всем благодарность.

...Утром ничто не напоминало о дожде. Небо было чистое, прозрачное, без единого облака, и степь пахла сладко и густо. Отсюда она была видна далеко, почти до китайской границы, до того места, где дыбилась горной грядой и вдруг оказалась на удивление зелёной, с бусинками небольших озёр, рассыпанными вдоль долины. И солнце грело так, словно всю эту неделю копило тепло и вот теперь расплёскивало его по земле.

После завтрака был дан приказ поднять полы палаток, и лагерь стал напоминать строй мелких судёнышек с зарифлёнными парусами.

Комбат собрал офицеров в палатке первой роты. Ночевать он ездил домой, был в свежей рубашке, выгодно подчёркивающей его загорелое лицо.

– Поясню обстановку, товарищи офицеры. Об учениях ничего определённого сказать не могу... О дембеле тоже приказа не было.

Ставлю задачу: в ближайшие дни обучить личный состав некоторым воинским дисциплинам. Устав, боевое оружие, политзанятия. Пособия сегодня подвезут. Командирам рот подготовить расписание занятий на неделю. Выполняйте.

Застелив степь вокруг палаток матрасами, одеялами и шинелями, личный состав загорал. Угловатые, мосластые, тяжёлые мужские тела белыми пятнами покрыли траву.

Кирилов, отойдя подальше в степь, последовал их примеру. У него был свободный от занятий час. На книжку устава он сложил одежду и, закрыв глаза, подставил лицо жарким лучам. От тепла тело заныло и ослабло. Всё, что было вокруг, вне его, и то, что жило в нём, вдруг стало терять остроту и реальные очертания.

– Кирилов, – вдруг услышал он. – Кирилов.

Над ним стоял Горбунец, одетый по всей форме. Он нервно мял в пальцах папиросу и смотрел в сторону.

– Я попрошу тебя, собери роту и почитай им устав. Или просто посидите в кружке. Понимаешь... плохо у меня с женой, трудно ей...

И он, махнув рукой, пошёл дальше в степь, подтянутый, прямой, как на параде.

Кирилов оделся и пошёл собирать роту.

...За видимостью изучений устава и пособий прошла ещё одна неделя. Только к её концу степь уже не блестела озёрами, по вечерам не слышно стало лягушек и пахла она колючей, горькой, словно махорка, пылью. Почерневшие солдаты уже не выходили лишний раз на солнышко, а прятались в скудной тени от палаток. Когда приходило время занятий, натягивали гимнастёрки, ставили рядом сапоги на случай неожиданного приезда комбата. Кирилов открывал учебник, и начинались разговоры. Говорили в основном о том, что осталось на гражданке: о домашних заботах, о том, что сено сгорит, где не сгнило от дождей – надо бы косить да косить, а рук не хватает в деревне. О жёнах, детишках. Иногда пускались в такие подробности, от которых Кирилову становилось стыдно, но он слушал и думал о своей молодой жене, которая ни на чью не была похожа. Он ежедневно писал ей письма, в которых подробно расписывал каждый свой день, но от неё получил всего лишь два и то коротеньких. Слушая разговоры солдат, он начинал ревновать свою жену ко множеству соблазнов, которые существовали там, за сопками, за степью и против которых, судя по разговорам, устоять женщине было невозможно. Иногда ночью, лежа в темноте в своём углу на нарах, он представлял, как приедет неожиданно среди ночи, откроет дверь своим ключом... И ему становилось от этих мыслей стыдно и больно.

Солдаты по вечерам по очереди стали ходить в деревню за двадцать километров, доставать самогон.

Командир первого взвода Григорьев нашёл себе подругу всё в той же деревне, вечером за ним приезжал её младший брат на мотоцикле, а наутро, к завтраку, привозил его в лагерь.

Командир второго взвода Головаха целыми днями отсыпался после полугодового аврала на строительстве какого-то важного объекта, где он работал прорабом. Ротный Горбунец получил телеграмму, что жену увезли в роддом, и второй день мерил степь шагами. Как Кирилов понял, роды ожидалась сложные.

И когда уже от безделья стало совсем плохо, появился комбат.

Он пропылил на уазике вдоль палаток, вылез из машины, почерневший ещё больше, но в чистом кителе, с застёгнутым воротником, поглядел на полураздетых солдат и сказал:

– Что это за партизаны? Одеться, заправиться и через две минуты всем стоять в строю. Бе-гом!

Потом он коротко отдавал команды, и роты поворачивались кругом и уходили в разные стороны, бряцая малыми сапёрными лопатками.

Был приказ подготовиться к обороне.

Отведённый взводу Кирилова участок приходился на самый гребень сопки, где под пятисантиметровым слоем земли лежал мелкий камень. Нужно было выкопать траншейный ход, три пулемётных гнезда, две щели. Кирилов работал вместе со всеми, чувствуя, как наливаются силой ослабевшие от бездействия мускулы. Рядом бил киркой Стеклов, сочно гукая, блестя мокрым от пота телом и приговаривая с каждым ударом: «Так её! Так её!...».

– Папашу бы сюда, а? – весело выдохнул он. – Папашу бы, с его радикулитом, враз легло бы...

– Не думаю, – отозвался Кирилов. – Радикулит и от физической работы бывает.

– Ничего, у него бы отошёл. У него от холода... Вот дело, а то застоялись жеребцы...

Он захохотал, и Кирилов удивился, какой он большой, звучный, сильный.

Копали солдаты азартно. Они, заскучавшие от безделья, находили сейчас облегчение в работе, радуясь физической усталости и будущему отдыху.

Траншеей выбили в полный профиль, укрепили борта, аккуратнее, чем в других взводах, подчистили и укрыли щели.

– Вот это дело, – ходил по траншее довольный Стеклов и хлопал своей ручищей солдат по спинам. – Вот это поработали.

Впервые за две недели требовали добавок, ругали в хвост и гриву поваров.

Перед отбоем подымили у палаток. Разговор вился на этот раз добродушный, усталый.

...Комбат подъехал через два дня.

Первым делом он обошёл вырытые ходы и сообщения, указал на замеченные недостатки командирам рот и взводов, потом остановился на участке Кирилова, на самом верху сопки, откуда далеко была видна дорога и можно было разглядеть пограничную заставу, на которой их в своё время собирали, улыбаясь, сказал:

– То-то, всю сопку перерыли. Я ведь говорил, никакая техника таким мужикам не нужна! Вот только теперь весь вид портит. Начальство заметит – по головке не погладит, а то и наоборот. За службу, товарищи офицеры, передайте личному составу спасибо, а траншеи закопать. И замаскировать, словно их не было.

– Как же так, товарищ майор, – выступил вперёд Горбунец. – Мужики... то есть личный состав долбил эту землю, старался...

– Обстановка изменилась, ротный. На войне как на войне, сегодня – рой, завтра – закапывай, и двигайся дальше...

Офицеры угрюмо молчали.

– Но хоть нужно это всё было? – вырвалось у Кирилова.

– А как же. Для вас разве не нужно?

– Как собаке пятая нога, – буркнул кто-то, и комбат, багровея, прогремел:

– Разговоры! Приказ выполнить и завтра в девятнадцать ноль-ноль доложить исполнение...

...Назавтра Горбунцу пришла телеграмма, что сын родился мёртвым. Его весь день не было, только под вечер он вышел на засыпанные траншеи, присел на камень рядом с Кириловым.

– Вот так вот, брат, – сказал он осевшим голосом. – А жизнь идёт. И пустого в ней так много, и того, что нам неподвластно, и того, что не надо, что могли бы не делать, да вот сами закрутились, придумали, что надо делать... делаем... Степь эту ненавижу.

Он пошёл к палаткам, а Кирилов, аккуратно сложив, спрятал в карман письмо в водяных разводах между строками. И подумал, что, как и ротный, ненавидит степь.

Среда, девятое...

Тупик, полный и беспросветный тупик Гребнев ощутил в одно мгновение, стоя за кульманом, выводя аккуратные обозначения категорий. До этого он думал о вещах приятных: о близящемся отпуске, который он проведёт с Валерией, о том, как заберутся они вдвоём на дальнюю турбазу, где никто их не знает и никому ни до кого нет дела, будут кататься на лыжах и отогреваться вечерами у камина, забыв обо всём, что останется за чертой этих дней, а потом... И именно в эту секунду карандаш замер, не доведя округлость цифры, скользнул по ватману, оставив еле видимый след, похожий на воспоминание о пролетевшей падающей звезде, и все видения, только что заставлявшие Гребнева негромко мурлыкать модный шлягер, разом исчезли, растаяли, как тают снежинки в опаляющих языках лесного костра: а что будет потом?

И это простое *«что будет потом?»* вдруг поднялось высотным домом в окне, зависло над тремя этажами их конторы, куда он приходит уже восьмой год, поразило своей неохватностью; спасаясь от этого вопроса, он удивился, что не знает, сколько же в доме напротив этажей, вспоминал и не вспомнил, прошёл к окну, выгнулся, припал щекой к холодному стеклу, пытаясь увидеть крышу...

– Евгений Петрович, вы закончили? – вскинул очки начальник бюро Сидорчик (именно Сидорчик, а не Сидорчук, к чему Гребнев долго не мог привыкнуть, пока не затвердил наизусть). – Можно давать копировщицам?

– Не совсем, – Гребнев отпрянул от окна. – Чёрт подери, сколько же в нём этажей? – удивился он, не обращая внимания на недовольное выражение лица Сидорчика, и над чертёжными досками качнулись в сторону окна шевелюры и причёски, вспорхнула, словно ожидавшая этого вопроса, Наташа Гурская, начала считать, кокетливо водя карандашом по стеклу: «Шестнадцать, семнадцать...»

– Наверное, восемнадцать, – сказала она, – восемнадцать.

– Не может быть, – поднялся Сычёв. Запустил пятерню в матово чёрную бороду, глубокомысленно постоял рядом с Гурской, подружески, непринужденно опустив ладонь ей на талию. – Ты как всегда грешишь в счёте, Натали... Я вижу всего пятнадцать...

– А ты пригнись, – сказала Гурская, делая вид, что не замечает этой руки, и Сычёв склонился, опёрся на маленькое плечо. – Я всегда права.

Сычёв делал вид, что считает этажи.

– Наташа, не урони слоника, – сказал Гребнев, пытаясь избавиться от давящего ощущения тупика.

– Я думаю, это лучше делать в перерыв, – нажимая на «это», проскрипел Сидорчик.

– Кстати, которое сегодня число? – донёсся из-за дальнего кульмана голос Светланы Фёдоровны, ветерана бюро и бессменного профсоюзного лидера.

– Среда, девятое, – подсказал Гребнев. – Вы счастливый человек, Светлана Фёдоровна...

– Конечно... Уже девятое, а вы, Наташенька, всё сидите на одном месте...

– Мы уже и-дём тру-дись-я, – продекламировал Сычёв и, гремя высокими каблуками, вернулся к своему столу.

– Восемнадцать, – вздохнула Гурская. – В восемнадцать я безбожно влюбилась. Он был будущим лётчиком, высоким до невозможности... – Она провела рукой над своей головой.

– Бросил, – предположил Сычёв.

– Меня?.. – Она окинула Сычёва презрительным взглядом. – Он оказался примитивнее поршневого самолёта.

– Наташенька, если не трудно, завари, пожалуйста, чаю, – попросил Гребнев, с трудом сдерживая неожиданную дрожь.

– Через пятнадцать минут, – непрекаемо произнёс Сидорчик. – Не отвлекайтесь, перерыв через пятнадцать минут.

Гурская пожалала плечами, покрутила пальцем у виска, прыснула, ожидающе глядя на Гребнева, но тот не поддержал, склонился над чертежом.

Установившуюся тишину прерывало только сухое потрескивание графитных стержней и покашливание и шмыгание красноногого Дурасова.

Гребнев нарисовал круг.

Вспомнил жаркую комнатку Валерии, пахнущую чуть-чуть ладаном, чуть-чуть ромашкой, такую же странную, какой странной была их встреча прошлой весной...

Он пошёл тогда в последний раз на зимнюю рыбалку – сбежал от домашних забот за город, поругавшись со Светланой. Выбрал на уже подтаявшем льду просверленную кем-то лунку, соблазнившись замёрзшими отпечатками рыбьих тушек, стал ждать, забывая томительное молчание Светланы, медленно входя в этот мир белоснежной тишины и неподвижности, наблюдая за лыжниками, догоняющими зиму на пологом склоне берега. Отпечатки обманули, поклёвок не было, и он решил пройти дальше от берега. Заскользил по прогибающемуся льду, настороженно прислушиваясь, но не дошёл до намеченного места: лёд под ногами вдруг развёлся, пугаясь, он стал подминать под себя обламывающуюся синюю кромку, крепко сжимая ящик со снастями в одной, а бур в другой руке, ещё не веря в произошедшее, надеясь ощутить твердь, но тверди не было, а шуба тяжелела с каждым мгновением. Он устал уже бороться с её тяжестью, отбросил бур и ящик, ушедший под воду неторопливо и безмолвно, когда в плечо ему ткнулась ярко-красная лыжа. Не чувствуя рук, он каким-то чудом всё-таки сцепил их на этой полосе и замер, видя белое лицо с заиндеветыми ресницами, коричневый свитер и длинные худые красные руки...

Наконец, кромка перестала ломаться и он пополз по льду, оставляя тёмный мокрый след, пока не услышал усталое, с шумными выдохами:

– Вставайте, теперь можно... И бегом, бегом!

Он встал, растерянно оглядываясь, чувствуя адский холод, тяжесть, сковывающую тело.

– Бегом!

И он побежал, слыша за собой громкое дыхание, не зная куда и зачем, не замечая удивлённых взглядов лыжников, катившихся по склону вниз. Бежал, проваливаясь в снег, задевая звонкой шубой ветви деревьев и подчиняясь подгоняющему голосу, пока не упёрся в бревенчатую избушку, не ввалился в низенькую дверь, не рухнул на земляной пол, пахнувший прелыми листьями и смолой.

– Раздевайтесь, быстро! – приказали ему, и в металлической печке забились робкие языки, пожирая потрескивающую бересту...

Он стал выбираться из панциря шубы, кольчуги свитера, охая и ахая, наконец остался в тёплом белье, не зная, что делать дальше, но тут маленькие красные руки потянули с него майку, кальсоны и он остался в чём мать родила, но почему-то не устыдился этого. А эти уверенные руки уже растирали, разминали его тело, становились всё горячее и горячее, наконец острые иголки вонзились в Гребнева, обожгли его, заставив прикусить губу...

– Теперь к печке, грейтесь...

Он послушно шагнул к теплу, не в силах справиться с навалившейся на него дрожью, громко стуча зубами и пытаясь как-нибудь пошутить по этому поводу, но губы не слушались, и он только выстукал:

– Спа-си-бо...

А руки уже крутили в жгут его кальсоны, потом трясли их, переворачивали на шипящей печке.

– Надевайте, – услышал он, поднял глаза и увидел протянутую длинную майку и белое тело, черные овалы лифчика, родинки, густо разметанные на животе.

– Быстрее, а то мне холодно.

Он послушно натянул майку, треснувшую по швам, потом влажные кальсоны и только тогда разглядел свою спасительницу...

– Перерыв, – сказал Сидорчик. Потёр ладони. – Вот теперь, Наташенька, давайте чай... Евгений, вы не закончили?

– Почти, – Гребнев поднялся. – Два штриха – и дело в шляпе.

– Давайте, заканчивайте...

Сидорчик пробежал между рядами кульманов, похвалил Светлану Фёдоровну, желчно ткнул пальцем в чертёж Сычёва, отмечая ошибку, исчез за дверью.

– Змей Горыныч, – сказал Сычёв. – Сказочный персонаж: двуглаз...

– Если не уважаете начальство, Анатолий Михайлович, уважьте возраст, – защитила Сидорчика Светлана Фёдоровна.

– Он хороший. – Гурская опустила в банку кипятильник. – Кто сегодня бежит за пирожными?... Толя, твоя очередь.

– Давайте, я схожу, – вызвался Гребнев. – Люблю лезть без очереди.

– Уступаем, Женечка, валяйте...

Дурасов громко высморкался, осторожно вытер распухший нос.

– Господи, когда это кончится, – тоскливо произнёс он, вытаскивая из пачки сигарету. – Даже запаха дыма не чувствую.

– Так я пошёл, – сказал Гребнев.

Он вышел на улицу, поёживаясь, пробежал квартал до ближайшего кафетерия, в ванильном тепле отдышался, потёр замёрзшие уши, обогнул очередь.

– Добрый день, тётъ Валь.

Полная продавщица в накрахмаленном кокошнике протянула ему коробку с пирожными, взяла деньги и, не пересчитывая, бросила их в кассу.

– Опять тебе, Евгений, жребий выпал?

– Жребий, – кивнул Гребнев. – Судьба. Безжалостный рок. – Помялся. Не хотелось так быстро возвращаться в контору. – Тётъ Валь, налейте-ка мне стаканчик томатного...

Встал за столик напротив окна.

Теперь он видел крышу высотного дома и четыре верхних ряда окон, остальные закрывало роскошное здание конца сороковых годов со множеством архитектурных излишеств, и он опять не смог сосчитать этажи...

Он пришёл к Валерии накануне первомайских праздников, с коньяком, коробкой конфет и ранними ландышами, уже позабывший пережитый страх своего ледяного купания, пришёл, чувствуя какую-то потребность отблагодарить, отдать долг, чтобы раз и навсегда забыть о своей спасительнице. Он хотел взять с собой и жену, но Светлана сопровождала важных дельцов из Западной Германии, у них на этот вечер была назначена встреча, без переводчицы не могли обойтись, и он пошёл один.

С трудом нашёл дом, перед дверью сунул обратно в карман записку с адресом, надавил на кнопку.

Открыла высокая старуха с мосластыми босыми ногами.

– Леру?... Проходи, голуб, шас накупается...

Старуха пошлёпала по паркету в комнату, оставив Гребнева, растерянно замершего в прихожей. Он потоптался, наконец решительно положил подарки на пол, снял туфли, потом, помедлив, носки и босиком пошёл за ней.

В комнате, заставленной старой мебелью, было сумеречно.

В углу висела икона с пожелтевшим ликом святого (какого, Гребнев не знал), горела лампадка.

Старуха села на кожаный диван, уткнулась в потрёпанную книгу.

Гребнев постоял, потом сел рядом и стал ждать.

Валерия вышла из ванной в застиранном халатике, босиком, и её ноги были похожи на ноги старухи: такие же крупные, с шишками выпирающих костей.

– А, утопленник... Жив?

– Вроде, – сказал Гребнев. – Ничего, что я так, без предупреждения?..

– Максимовна, ты чего же его разула? – спросила Валерия.

– Не разувала, – отозвалась старуха, не отрываясь от книги. – Свольничал, Господь с ним...

– Не обращай внимания, – сказала Валерия. – Мы для здоровья босякуем... Проходи ко мне.

Гребнев прошёл за ней в узкую комнатку, где с трудом умещались тахта, стол и шкаф.

Валерия прикрыла за ним дверь, сказала:

– Садись на тахту, не стесняйся.

Голос у неё был грубоватый и лицо её, с короткой причёской, распаренное, было похоже на лица финиширующих спортсменов. Тогда, в избушке, она казалась Гребневу красивее и сейчас он не мог скрыть своего разочарования.

Он засуетился, выставил на стол, покрытый петушиной расцветки скатертью, коньяк, коробку конфет:

– Если бы не ты...

– Ну, давай выпьем, – сказала Валерия. – Ты теперь вроде как мой крестник.

– Если бы...

– Если бы да кабы... Максимовна! – крикнула Валерия. – Выпьешь с нами, за моего крестника?!

– Грех, – донеслось из-за двери.

– Не обращай внимания, – сказала Валерия. – Она всё понимает...

Гребнев поставил стакан на стойку:

– Спасибо, тётъ Валь...

– На здоровье.

Он трусцой пробежал по улице, влетел в контору.

Заваренный чай уже отливал золотом на его столе.

Сычёв с Гурской курили, по очереди выдыхая дым в форточку.

– Жень, поехали в отпуск вместе, – сказала Гурская, отодвигаясь от Сычёва. – Ты без жены, я без мужа...

– Кто?.. Он без жены? – Сычёв вытянул два прокуренных пальца в сторону Гребнева. – Куда ему от своей красавицы...

– А разве я хуже, а? – кокетливо спросила Гурская.

– С лица воду не пить, – донёсся из-за кульмана голос Дурасова. – Почему чаю нет?

– Айн момент...

Гурская плеснула чай в большую эмалированную кружку Дурасова.

– Может, с сахарком, товарищ ведущий специалист?

– Благодарю. – Дурасов шмыгнул носом, – Предпочитаю в естественном виде.

Гребнев подошёл к форточке, размял сигарету.

– Старичок, я прошу тебя, таким тоном со мной больше не разговаривай, – медленно сказал он Сычёву.

Тот уставился непонимающе, улыбка исчезла.

– Какая муха тебя укусила?

– Всё, я сказал...

Светлана Фёдоровна выглянула из-за бумажных рулонов, уставилась на Гребнева.

Гурская замерла с голубенькой чашкой в руках.

– А где же шеф? – прервал тишину Дурасов. – Ему бы сливки, а достанутся омывки...

– Ничего, я ещё заварю. – Наташа Гурская, оттопырила оранжевые губы и вонзилась зубами в пирожное, с интересом поглядывая на Гребнева.

Он стоял у окна и курил, наблюдая, как дым сизой лентой мечется в слоях воздуха. Он спиной ощущал взгляды, до конца не понимая сам, почему вдруг обиделся на обычный трёп Сычёва, который не замечал все эти восемь лет... Почему без боли и тоски думал о красивой Светлане, где-то ублажающей сейчас очередную иностранную делегацию. Почему вдруг остро ощутил свою никчемность в этой конторе, в этой жизни... Почему перед глазами стоит некрасивое лицо Валерии, к которой Светлана даже не ревнует его, хотя он в тот первый раз, когда пришёл домой под утро, честно сказал ей, где был.

– О чём ты можешь говорить с этой мужеподобной девицей? – только и спросила она, отворачиваясь к стене.

А он долго не засыпал, потому что в ушах стоял хриловатый голос Валерии. Руки виновато горели вспоминая томление её тела, истосковавшегося по мужским объятиям, он чувствовал запах ромашки и ладана, слышал нашёптывания Максимовны, вымаливающей себе лёгкую жизнь там, где, по его мнению, не было никакой жизни...

– Не приходи больше, – сказала Валерия, когда он одевался, в темноте натываясь на острые углы. – Я тебя пожалела сегодня. Любовницей твоей я не буду. Получил, что хотел, и исчезни. Навсегда.

– Какая ты... Грубая, – сказал он.

– Это верно, – подтвердила она. – Грубятина, каких мало. Так что давай без угрызений совести...

Он прикрыл дверь, стараясь не смотреть в сторону молящейся старухи, прошёл в прихожую, надел туфли на босые ноги и торопливо выскочил на улицу, уверенный, что никогда больше не придёт сюда.

Но прошла неделя, и он вновь стоял у этой двери...

– Все на месте? – Появившийся Сидорчик подозрительно оглядел стол с банкой и пирожными, принял поданный Гурской высокий стакан. – Евгений Петрович, можете не торопиться, проект ваш тютю, зависает... Утрясают выше.

– Как всегда, – хохотнул Сычёв.

Сидорчик громко отхлебнул чай, надкусил пирожное.

– А я не хочу не торопиться, – сказал Гребнев. – Восемь лет тютю, и не тороплюсь. Устал...

– Что с ним? – спросил Сидорчик и строго оглядел всех. – Я вас не узнаю, Евгений Петрович, вы всегда предельно исполнительны, хороший конструктор...

– Я давно уже никто! – сказал Гребнев. – Нечто бесполое и послушное, на соответствующем стажу окладе... при соответствующей веку жене... И даже с любовницей, которая некрасиво прекрасна...

Светлана Фёдоровна вышла из-за кульмана, её глаза стали увеличиваться. Дурасов потянулся за платком, но передумал и вытер нос нарукавником.

– Шиз, – присвистнул Сычёв. – От сытой жизни.

– Подожди, Толя. – Гурская, плавно покачиваясь, подошла к Гребневу, протянула свою чашку. – Выпей, Женечка, это тонизирует... И не обращай внимания ни на кого. Когда мне плохо, я рыдаю не стесняясь, реву как корова, и лети всё в тартарары...

– Переутомился, – констатировал Дурасов. – Стрессы довели.

– Она сказала – я гнилой внутри, безвольный, плыву себе по течению и всё... Плыву... К Дурасову, к Светлане Фёдоровне... И ты плывёшь, и Сычёв, – тихо пожаловался он Гурской. – А может, не плыть?..

Могу я сам распорядиться своей судьбой, а не бегать за пирожными...

- Верно, – кивнула Гурская. – Ты ведь после института где-то в Сибири работал?
- Сбежал. Испугался...

Гребнев выбросил сигарету в форточку.

- А она как, сильная личность? – громко спросил Сычёв.

- Кто?

- Ну, не жена же...

- Тебе-то что?

- Ну как же, благотворное влияние, познакомь, а вдруг и мне поможет...

Гребнев рванулся к слащавым глазам Сычёва, опрокинул стол, со звоном разлетелась на осколки синяя банка, невероятно гремя и треща, посыпались личные чашечки, кружки, стаканы, Гурская взвизгнула, он запнулся обо что-то и упал на колено.

- Прекратить! – дискантом прокричал Сидорчик. – Сейчас же! Немедленно!

- А я что? – Сычёв пожал плечами. – Я говорю, звоните ноль-два...

Можно ноль-три, там тоже помогают...

Гребнев, морщась, поднялся, потёр ушибленное колено.

- Тебе больно? – спросила Гурская.

– Что это с вами, Евгений Петрович? – строго произнесла Светлана Фёдоровна. – В нашем коллективе всегда всё было пристойно, я уже работаю здесь более двадцати пяти лет – и никогда ни одного скандала.

- Извините, – сказал Гребнев. – Сегодня у нас что, среда?

- Среда, девятое, – подсказала Гурская. – Может, седуксену? Хорошо успокаивает.

– Не надо. – Гребнев прошёл к своему кульману. – Я буду делать чертёж и закончу его сегодня, – сказал он Сидорчику. – И если завтра мне нечего будет делать, напишу докладную...

Сидорчик с удивлением вскинул на него очки, потом куда-то убежал.

Наташа Гурская принесла швабру, стала собирать осколки.

Дурасов в очередной раз громко высморкался.

Сычёв делал производственную гимнастику.

– Руки вместе, ноги врозь... Сердце крепче, шире грудь. Нервы в норме до ста лет, обожаю турникет...

- Восемнадцать, – сказала Гурская, отставляя швабру.

- Нет, всего-навсего пятнадцать, – категорично заявил Сычёв.

– Вот приедет барин, барин вас рассудит, – сказал Дурасов. – Классик Некрасов, между прочим.

- А я думал, Вознесенский, – хмыкнул Сычёв.

- Повышайте уровень в свободное от работы время...

– Ему женщины мешают. – Наташа Гурская задумчиво смотрела на чертёж. – В семнадцать лет за мной ухаживал студент из института международных отношений. Сверхэрудит. Из загранок не вылезает...

Экспорт, импорт... Но целоваться совсем не умел.

- Это зависит от женщины, – сказал Гребнев. – Всё зависит от женщины.

– Женечка, вы здраво мыслите, – сказала Светлана Фёдоровна. – У вас светлая голова и вам надо жить иначе.

- Попробую.

- Только не в нашем коллективе, здесь есть свои традиции, добрые традиции.

- Благодарю за совет.

Наташа Гурская наклонилась к его уху.

– Женя, а может, действительно, махнём в отпуск вместе? – Её щёчки порозовели. – Я без всякой мысли, как в студенчестве... Пошалим...

- Поедем, – сказал Гребнев. – Только возьмём одного человека.

– Её?

Он не ответил.

– А что, так даже лучше, мой супруг не умрёт от ревности.

Влетел Сидорчик. Полы его халата энергично развивались.

– Евгений Петрович, – сказал он. – Срочно заканчивайте – и в размножение...

– Размножение, помножение, понижение, положение... – пробубнил Сычёв. – И всё-таки пятнадцать.

– Какая разница, – нервно произнёс Сидорчик. – Хотя все сто двадцать, нас это не касается...

– ...Ты меня не любишь, – сказала Валерия. – Просто твоя жена не устраивает тебя физически. Это бывает у красавиц. А я от одиночества злая, была б женой, может, тоже не тянуло бы... Только почему тебя ничего не интересует?.. Ты даже не знаешь, чем я занимаюсь, кто для меня Максимовна, кто мои друзья... Ты даже не знаешь, что под моими окнами когда-то был глубокий ров с водой. И он защищал многие годы...

Люблю я её, подумал Гребнев, и отбросил карандаш. И всё меня интересует.

Он прошёл к столу Сидорчика, пододвинул телефон, набрал номер.

В трубке тянулись долгие гудки.

– Обед! – прокричал Сычёв. – Обед, коллеги, обед. – И быстро потопал по коридору.

Дурасов промокнул нос, неторопливо пошёл следом.

Светлана Фёдоровна расстелила на столе «Литературку».

– Женечка, в столовую идёшь? – спросила Гурская.

– Не знаю... Может быть... Нет, не пойду, – неожиданно твёрдо произнёс Гребнев.

Он торопливо оделся.

– Не опаздывайте, Евгений Петрович, – сказал, неожиданно возникший перед ним Сидорчик. – Дисциплина прежде всего.

Не ответив, Гребнев вышел на улицу.

Было солнечно и морозно. Всё вокруг куда-то спешило, несло сломая голову, и Гребнев впервые заметил это и поразился: все эти годы ему казалось, что жизнь течёт вокруг так же неторопливо и пусто, как в их конторе, что вечная замотанность Светланы, её спешка по утрам и вечерняя усталость не что иное, как каприз, и основательность Валерии, её спокойствие, казалось, подтверждали это. И вдруг он понял, что это не так. Что Валерия тоже не умеет не торопиться, она живёт столь же стремительно или чуть-чуть помедленнее Светланы и её знакомых актёров, дипломатов, писателей. И вот только он и те, с кем он рядом работает, отстали от века, хотя делают вид, что это не так. И вдруг в этой его отлаженной неспешной жизни, как в электрическом поле, создалось критическое напряжение, потенциал между его ритмом жизни и ритмом жизни других, этот потенциал рос, наполнился непониманием и наконец замкнул...

Нужно было найти выход.

Нужно было догнать уходящую настоящую жизнь, вписаться в её ритм. Догнать несущуюся со скоростью курьерского поезда жену или хотя бы едущую со скоростью автомобиля Валерию...

Он грустно улыбнулся, подумав, что эти сравнения' под стать веку, и если исходить из них, то он подобен пешеходу...

Завернул в телефонную будку, набрал номер Валерии.

– Говорите, – услышал хриловатый голос.

– Это я, – сказал Гребнев. – Из тупика.

– Опять хандрить?

– Не надо так... Я хочу уехать, – сказал он.

– Бежишь?

– Поедем вместе? Куда-нибудь, где нас никто не знает, и всё начнём заново. И я буду другим, сильным, волевым, я ведь вполне могу быть крупным руководителем, я неплохой специалист, – пьянея от собственных фантазий, говорил он. – Надо выходить из тупика.

– Это не выход, – после паузы отозвалась Валерия. – Это просто отсрочка. И к тому же...

– Она помолчала. – Сильный ты мне будешь не нужен. Я сама сильная.

– Как же быть? – спросил он.

– Решай. Сам решай, – сухо произнесла она.

В трубке раздались гудки.

Гребнев постоял, постигая их безжалостный смысл.

Медленно побрёл по улице, не зная куда идти, что делать, чувствуя себя одиноким и никому не нужным. Хотел позвонить жене, но это было бесполезно, её, как всегда, не было бы на месте – опять кого-то сопровождает, переводит, улыбается, благодарит за комплименты и дешёвые презенты, которые уже заполонили весь дом...

Гребнев поехал в аэропорт.

Через стеклянную стену он стал смотреть на взлетающие самолёты, приливы и отливы пассажиров, улетающих и прилетевших...

...Он опоздал с перерыва на полчаса.

В конторе царил обычная неспешная рабочая обстановка. Гребнев потёр руки, сел за кульман, оценивающе окинул взглядом чертёж.

– Готово, – сказал он негромко.

– Проверьте ещё раз, Евгений Петрович, – сказал Сидорчик. – Спешить нам некуда...

– Спешить некуда, – повторил Гребнев. – А надо бы...

И стал резинкой подчищать пятна на чертеже.

Охота в Путоранах

1

С утра туман, висевший над рекой, стал подниматься. Скоро он закрыл взлётную полосу, укутал дома нижней части посёлка.

Молочная завеса густела на глазах. Стоя у окна, Солонецкий подумал, что встречать Ладова сегодня не придётся. Нажал клавишу селектора.

– Вера Сергеевна, передайте главному инженеру, чтобы в котлован ехал один. И соедините меня с Пискуновым.

Опустился в кресло, подписал бумаги, вспомнил телефонный разговор с заместителем начальника главка. Слышимость была отвратительной, голос Ладова еле прорывался сквозь помехи, и всё же Солонецкий понял, что тот чем-то недоволен. «Надолго ли к нам?» – осторожно выпытывал Солонецкий, а Ладов, словно не слыша, повторял, чтобы он никуда не улетал, ждал его. И лишь в конце разговора бросил: «Надолго, Юра. Приеду надолго, наговоримся».

Как ни крутил ни вертел Солонецкий, так и не понял, зачем летит Ладов. Но если едет начальство, надо встречать, готовиться, наводить лоск, даже если хозяйство в порядке; надо создать хотя бы видимость приготовлений – что там ни говори, но не видел ещё Солонецкий проверяющего, которому эта суета не была бы по душе. И машину надо подать к самому трапу, и обязательно самому, только самому встретить, и об ужине позаботиться, гостинице...

С Ладовым, конечно, проще – старый знакомый. И останавливается всегда у него. В прежние приезды Солонецкий за бытовые вопросы и не волновался: жена понимала толк во встречах...

Как всё нелепо. Живёшь-живёшь будущим и вдруг понимаешь, что всё осталось в прошлом. В прошлом – радость, счастье, иллюзии, здоровье, желания... На старости лет остаться одному в пустой квартире – такого и врагу не пожелаешь...

Голос секретарши прервал размышления Солонецкого. Он поднял трубку.

– Слушаю, Юрий Иванович, – дрожал на другом конце провода далёкий голос начальника аэродрома.

– Ты что это делаешь? Нарочно туман напустил?

– Что вы, – опасливо отозвался Пискунов, не найдя, как уместнее ответить на шутку начальника строительства. – Туман, дьявол ему в шасси...

– К обеду рассеется, нет?

– Непохоже, Юрий Иванович. Обложило так, что фонарей не видеть.

– Плохо работаешь.

– Так ведь погода, Юрий Иванович, стихия, так сказать, она не подчиняется...

– Ладно, – оборвал Солонецкий. – Если борт будет, сразу же доложи.

– Так точно.

Солонецкий переключился на внутреннюю связь.

– Главный инженер выехал?

– У себя

– Пусть зайдёт.

Посмотрел в окно.

Туман стал плотнее. Уже ничего не было видно, кроме его серой сырой завесы, и казалось, весь мир сжался до пределов кабинета.

Вошёл Кузьмин.

Молча отодвинул кресло, сел.

– Поезжай без меня, Геннадий Макарович, – с трудом уходя из-под гипнотического воздействия тумана, произнёс Солонецкий. – Пусть сегодня займется марафетом, а то чёрт ногу сломит... Чтобы все ограждения, лестницы, полки в порядок привели. Досадные неожиданности нам сейчас совсем ни к чему... И ещё, Геннадий Макарович, у меня к тебе личная просьба.

Он помолчал, рассеянно оглядывая стоящие на низком столике телефонные аппараты: красный – прямая связь с главком в столице; чёрный – с перевалочной базой в краевом центре, и цвета слоновой кости – местный.

– Я прошу свои проекты заместителю начальника главка пока не показывать.

Кузьмин помедлил и только уже у двери кивнул.

Оставшись один, Солонецкий выдвинул нижний ящик стола, положил перед собой красную папку, туго стянутую завязками, но развязывать так и не стал. То ли от неопределённого разговора с Ладовым, то ли под воздействием тумана, он никак не мог войти в обычный рабочий ритм, когда любое дело кажется самым важным и решается быстро и уверенно, а принятое решение не оставляет сомнений в правильности. Подумал, что выбил его из колеи, скорее всего, телефонный разговор.

Его всегда обижала тайна инспекций. Оскорбляла его, Солонецкого, человеческое достоинство, хотя для начальника строительства инспекция – дело привычное. Проверяющие приезжали и уезжали, а он опять оставался один на один с проблемами, с ежедневными большими и малыми сбоями стройки. И вспоминал о визитёрах лишь оказавшись в коридорах главка – по оттенкам настроения, с которыми его принимали. Как правило, каждый проверяющий привозил в главк мнение, не лишённое субъективной окраски. Солонецкий когда-то игнорировал такие мелочи, как хлопоты вокруг того или иного ревизора. За что бывал бит сам, да и дело страдало. С годами набрался ума-разума, научился разбираться в желаниях проверяющих и предугадывать их...

Последний раз Ладов был в Снежном пять лет назад. Тогда он только что защитил кандидатскую, стал заместителем начальника главка.

Неделю жил у Солонецкого, днём читая детективы, ночами выезжая на лов осётра... Пять лет назад Ладов был таким, каким Солонецкий знал его ещё в институте. Но когда перевалит за сорок, пять лет – это много. Он судил по себе.

– Юрий Иванович, к вам Илья Герасимович, – вернул его к действительности голос секретарши.

– Пусть войдёт.

Костюков вошёл как всегда стремительно, отмахивая шаг правой рукой и прижимая левой папку с бумагами. И в который раз Солонецкий отметил его молоджавость. Стройный не по летам, пятьдесят за плечами, а в любой компании молодых обойдёт: и на гитаре играет, и стихи пишет, и ухаживает так, как редко кто умеет сегодня...

Жестом фокусника, уверенного в успехе номера, раскрыл папку, пододвинул начальнику строительства.

Солонецкий пробежал глазами колонки цифр.

– Что предлагаешь?

– Воспользоваться приездом Ладова...

То есть – в благоприятную минуту подsunуть бумаги, убедить в необходимости дополнительного финансирования, надавать кучу обещаний, которые явно будут не по силам, заранее зная, что не выполнив эти, придётся давать новые...

Солонецкий вздохнул: сколько он уже пораздавал подобных обещаний в разных кабинетах.

– Хорошо. Обоснуйте только как следует. – Он прошёл к шкафу, стал одеваться. – Завидую вашей бодрости, Илья Герасимович. Поделились бы секретом, что ли?

– Охотно. Живу по совету моей бабушки: никогда не расстраиваться по пустякам...

– Немудрено, но оптимистично.

Солонецкий пропустил Костюкова вперёд, задержался в приёмной.

– Вера Сергеевна, если самолёт будет, разыщите по рации.

Туман был всё так же плотен, однако Солонецкий решил объехать некоторые объекты.

– Давай-ка, Расторгуев, мы с тобой по посёлку покатаемся, – сказал он шофёру. – Поглядим, как там наш жилотдел порядок навёл... И рацию включи.

Водитель щёлкнул тумблером, повернул ключ зажигания, ворчливо произнёс:

– В такой туман, Юрий Иванович, в кабинетах лучше сидеть...

Чаёк попивать.

– Ты меня не учи, – поморщился Солонецкий. – Поворачивай к школе...

В выстуженном пустынном коридоре сантехники лениво покуривали в ожидании отопительных батарей. Директриса, пряча замёрзшее лицо в пушистый воротник, то жалуясь, то требуя, перечислила претензии к строителям, напомнила, что уже сентябрь, а занятия так и не начинались, и наконец, выведенная из себя непробиваемым молчанием начальника строительства, вдруг топнула ногой:

– Да что же вы ходите тут без толку!

И тут же покраснела, смутилась, отчего стала похожа на школьницу, но глаз не опустила.

– Сегодня же сделают, я вам обещаю, – неожиданно виноватым голосом отозвался Солонецкий и, круто повернувшись, вышел.

Начальника жилотдела он нашёл в конторе. Ничего не объясняя, посадил в машину, привёз в школу, оставил возле крыльца, пообещав уволить, если утром в школе не будет тепла.

Потом поехал на строительство телевышки и после обеда – на склады, почти к устью реки.

В управление строительства вернулся поздно вечером.

Зашёл в кабинет. Не раздеваясь, посидел, полистал папку с проектами Кузьмина, взвешивая все «за» и «против». Обижало, что Кузьмин считает его консерватором. Откуда тому знать, сколько шишек набил начальник строительства, прежде чем научился разбираться в непростом клубке отношений с субподрядчиками, заказчиками, проектировщиками, поставщиками... Любая реорганизация – это деньги.

И ещё – это риск. Кузьмин – талантливый инженер, но он молод. И мысль, что новое, более совершенное может быть кому-то невыгодным, кажется ему абсурдной. И он ещё имеет право на ошибку, а Солонецкий – уже нет...

Положил папку на место.

Вышел на улицу.

Туман разошёлся, ощутимо похолодало. Освещённый фонарями посёлок казался уютным. Солонецкий пошёл через березовую рощицу, вдыхая запах опавшей листвы. Домой идти не хотелось, он не торопился, но через полчаса уже подходил к коттеджу.

Включил в прихожей свет, неторопливо разделся.

Прошёл по пустым комнатам.

Есть не хотелось, но всё-таки разбил на сковороду пару яиц. В эту минуту и зазвонил телефон. Отставив недожаренную яичницу, Солонецкий поднял трубку.

– Слушаю.

– Недоволен, – услышал он. – Хозяин сердится, и можно попасть под горячую руку.

Это был голос Ладова.

Но откуда он мог звонить?

Из главка?

Или из Турильска?... Сидит там в ожидании лётной погоды и сейчас воздаст ему за синоптиков.

– Так-то ты гостей встречаешь...-весело произнёс Ладов.

– Встретил бы, да туман висит... – в тон отозвался Солонецкий.

– Где застрял, в Турильске?

– Да нет, ближе.

Борт был, догадался Солонецкий.

– С аэродрома звонишь?

– Проспали твои дозорные, проспали, – поддел Ладов; настроение у него было весёлое. – В гостинице. Грязь дорожную смыл, отдыхаю.

– Что же ты так, – обиженно произнёс Солонецкий. – Дозорным я вкачу, но вот гостиницу не прощу.

– Ты тут «и бог, и царь»... Как на острове в океане живёшь – ни дорог, ни гостей, ни властей.

Трудно было понять, осуждает Ладов или одобряет.

– У меня яичница подгорает, давай я сейчас машину пошлю, – нажал Солонецкий.

– Какую машину, – опять засмеялся Ладов. – Пока ты своего шофёра раскатаешь, я ехать к тебе передумаю... Ладно, иду.

Солонецкий постучал по рычажкам, набрал номер Пискунова.

Начал грозно выговаривать, и Пискунов поддакивал, соглашался.

Солонецкий представил, как тот сейчас вытягивается по стойке «смирно», прищёлкивая домашними тапочками и хлопая пижамными брюками.

«Я ему сейчас наряд выдам!» – раздалось в трубке, и Солонецкий запоздало пожалел диспетчера, которому отставной майор выговор влепит обязательно.

Не снимая руки с телефона, вдруг с болью подумал о Ирине. Будь она здесь, в доме сейчас начался бы праздник. Подумал, что теперь никто не будет незаметно от других предупреждающе ловить его взгляд, если он скажет что-то не то, никто не поможет в трудную минуту, не развеет сомнения, если они возникнут...

В этом настроении он и встретил Ладова.

– Ну, здравствуй, – бодро сказал тот, подавая холодную руку, и Солонецкий подумал, что можно было бы и иначе, обнять, что ли, но сам не решился, пожал руку в ответ и стал помогать снимать пальто.

А Ладов, скидывая ботинки и надевая подставленные тапочки, говорил и говорил, и сверху Солонецкий видел, как багровела от напряжения его потолстевшая шея, стянутая тугим воротом рубашки.

– Нашёл стрелочника, Юрий Иванович?.. Ох уж эта славянская привычка искать стрелочника по любому неприятному поводу. Никак от неё не избавимся, никак не изживём...

– Изживём – ты же первым взвоешь.

– Ладно, брось такие разговоры, я с дороги, о делах поговорить ещё будет время.

– Проходи. Я один, так что...

Ладов прошёл в комнату, огляделся, провёл рукой по корешкам книг на полке, посмотрел на Солонецкого.

– Там у тебя что-то горит, – прищурившись, сказал он.

– Уже нет. Яичницу будешь?

– Давай.

Солонецкий ушёл на кухню, а Ладов сел за стол. Поёжился, физически ощущая холодацкий уют.

Солонецкий принёс яичницу, достал рюмки.

– Так ты надолго? – спросил он.

– Ты словно гостю не рад, – обидчиво произнёс Ладов. – Он только на порог, а ты уже на выход показываешь.

– Гостям мы рады, это ты зря, – Солонецкий поднял рюмку. – Давай за приезд, за всё хорошее...

– Чисто символически. – Ладов отпил глоток. – Вижу, до твоей берлоги ещё не докатились веяния: пора на чай переходить.

– Почему же, слышаны. – Он усмехнулся. – Газеты с опозданием, но читаем. Только ведь привычки ломать трудно. – Солонецкий отставил рюмку. – Да ещё при наших морозах.

– Мой тебе совет, захочется выпить, пей один. – Ладов подцепил кусочек яичницы. – Давно не виделись... Как живёшь?

– Давно, – согласился Солонецкий. – Живу, как видишь. – Он обвёл руками комнату. – Сам оценивай.

– Заходил я к твоим недели две назад, – после паузы сказал Ладов. – Ира работает в институте. Наташка по твоим стопам пошла...

– Дочка пишет, – кивнул Солонецкий. – Редко, но пишет.

– Мы стареем, а дочери уже невесты. И заметить не успели, а? – Ладов закурил, поискал глазами пепельницу. Солонецкий пододвинул тарелку. – Спасибо.. Если откровенно, Юра, я тебя не понимаю. Винить не хочу, но... Мог ведь и должностью поплатиться.

Солонецкий промолчал.

Глядя на Ладова, он подумал, как тот изменился. И не только внешне. Внешне даже не так, чуточку: в меру располнел, но это ему шло, как шла лёгкая седина и высокий лоб с залысинами. В институте Ладову прочили лысину к тридцати, но вот уже за сорок, кандидатская за плечами, а залысины всё те же, с одной лишь разницей: двадцать лет назад они старили, а теперь молодят.

– О чём молчишь? – спросил Ладов.

– О пустяках... Если б человек знал, что его ждёт, то совершал бы он ошибки, как считаешь?

– Я философский минимум пятнадцать лет назад сдал, – сказал Ладов. – Это у тебя от одиночества.

– И всё-таки?

– Думаю, совершал бы...

– Даже зная, что будет?

– Может быть... Так что у вас случилось? – спросил Ладов. – Я вам, конечно, не судья...

– И не берись судить, мы уж сами.

Солонецкий задел локтем рюмку, та упала на пол и разбилась. Ладов стал помогать собирать осколки.

– Ты ревнивый, нет? – спросил Солонецкий.

– Некогда, работы много, – отшутился Ладов.

– А тебе не кажется, что мы работоманами становимся? – Солонецкий сложил стёкла на тарелку. – Я вот в выходные места себе не нахожу. Указ антиалкогольный вышел, признаться первым делом подумал: а чем же мои мужики свободное время заполнят? Театра у нас нет, гастролирующие знаменитости – редкость. Чем заменить питейную компанию? Ведь у неё своеобразная, но специфика, что ли... Пусть пьяное, но общение. Впрочем, я не силен в этом. И тем не менее... Клубы сословные отменены. Ответственные за культуру у меня не культурнее вахтёра... Работать мы научились, а вот отдыхать – нет.

Ладов поднялся, включил телевизор

– Вот, пожалуйста, целый мир на дому. Только рябит...

– Телецентр нужен, – сказал Солонецкий и взглянул на Ладова, но тот не отреагировал. Солонецкий предположил, что слухи о подпольной стройке ещё не докатились до главка.

– Уж не новые веяния ли командировали? – вопросительно произнёс он.

– Мы в них ещё сами до конца не разобрались.

Откровенничать Ладов не хотел.

Прошёлся по комнате, кинул взгляд на настенные часы и заторопился.

– Пора отдыхать...

– Оставайся у меня, – предложил Солонецкий. – Места, сам видишь...

– Я уже устроился... Да и лучше так будет...

Он явно что-то недоговаривал.

Солонецкий понял это и настаивать не стал.

Проводил гостя, сухо попрощался.

Спать не хотелось, и он ещё долго лежал в темноте, но так и не нашёл ответа на вопрос о цели командировки заместителя начальника главка.

Заснул с назойливой и раздражающей головной болью.

2

Ладов не любил гостиниц. Ни столичных, фешенебельных, блестящих и продезинфицированных, ни провинциальных – звонких и студёных, с тусклым светом от маленькой лампочки под потолком и грязными пятнами на стенах. Его раздражали не столько неудобства, сколько гостиничное сиротливое настроение. Обижало, что он приходит в комнату, в которой до него жил кто-то и после него тоже кто-то займёт эту постель, включит эту настольную лампу. В гостинице Ладов становился брезглив, беспрестанно мыл руки, с опаской ложился на, как ему казалось, не совсем свежие простыни. Он не терпел соседей, обычно людей словоохотливых, нестеснительных, и, если не оказывалось одноместного номера, допоздна бродил по улицам и приходил, падая от усталости, раздевался и сразу же засыпал.

Вернувшись от Солонецкого в свой почти что люкс с двумя маленькими комнатками, телевизором и холодильником, он впервые почувствовал себя почти как дома. Для двухэтажной деревянной гостиницы это был действительно самый лучший номер. Освещённая сумеречным светом настольной лампы, гостиничная комната, по сравнению с холостяцкой квартирой Солонецкого, показалась Ладову уютной. Было на удивление тихо. Никто не хлопал дверьми, не ругался, не пытался петь или выяснять отношения. Батареи грели отменно, хотя начало сентября и по здешним меркам была хоть и поздняя, но всё же осень. И дежурная оказалась приятной женщиной.

– А нет ли у вас чаю? – забирая ключ, неожиданно для самого себя спросил он. И тут же добавил: – Хотя, впрочем, я не большой любитель...

– Я сейчас заварю.

Дежурная улыбнулась, и Ладову стало легко. Он закивал, заторопился в свой номер. Достал из чемодана коньяк, пару плиток шоколада, лимон, направил лампу в угол, так что в комнате стало романтически сумрачно, пододвинул к столу кресло и, довольный, пошёл к дежурной. Та, помедлив, всё же согласилась составить ему компанию, а увидев накрытый стол, не застеснялась.

– Волчье состояние, – сказал он и торопливо пояснил: – Это мы как-то зимой на волков охотились, обложили стаю, пятерых сразу взяли, а шестого никак. Ждали, замёрзли. Вечер уже, луна. И тут вой...

Этот последний на пригорке сидит, на луну воет, а перед ним остатки зайца. Вот иногда почему-то вспоминаю. Когда одиноким себя чувствую... Простите, вас зовут...

– Ольга Павловна.

– А меня...

– Я знаю, Александр Иванович.

– Ах да, анкета проживающего. Вы давно в Снежном?

– Скоро год... А ведь волк всё же съел зайца, – заметила Ольга Павловна.

– Да, действительно, – с удивлением отозвался Ладов. – А я об этом как-то не думал, больше о луне...

Ольга Павловна рассмеялась.

– Да вы не смущайтесь, – сказала она. – Хотите, скажу, о чём вы сейчас думаете? О том, что обычно на такой работе, как моя, сидят либо вышколенные заурядности, либо смазливые дурочки, не так ли?

– Ну, не совсем..., – и признался, – хотя что-то в этом роде.

– А сейчас вам хочется сказать мне комплимент.

– Вы правы.

Игривое настроение покидало его. Невеликий арсенал обольщений становился не нужен, а лёгкий вечер с красивой женщиной превращался в сухой и скучный, как формула, разговор.

– А сейчас вы думаете...

– Нет, – поспешно перебил Ладов. – Увольте, это опасная игра.

Я чувствую себя зайцем. К тому же ничего не знаю о вас...

– Вы быстро сдаётесь... Я была замужем. Это интересно знать всем мужчинам. – Ладов протестующе поднял руку, но она продолжала. – Но это не драма, не трагедия – мы просто не любили друг друга. А сюда я приехала не за деньгами и не прятаться от горя. Вы угадали, здесь я случайно и ненадолго. Просто сейчас эта работа меня устраивает... Вам это хотелось узнать?

– Я слушаю, – Ладов откинулся на стуле. – Внимательно и с интересом слушаю.

– По профессии – художник. Думаю, что для мимолётной встречи этого даже много...

– У вас здесь родные, знакомые?

Она покачала головой:

– Приходите в гости, прекрасная комнатка в общежитии на двоих.

– Вы живёте в общежитии? Но это же неудобно?..

– У меня хорошая соседка.

– Хотите, я вам помогу. – К Ладову возвращалась уверенность. – Это же непорядок, честное слово, единственный художник на стройке и без мастерской... Завтра же скажу начальнику строительства.

– Вот этого, пожалуйста, не делайте. – Ольга Павловна положила на его руку свою тёплую узкую ладонь, и он напрягся, боясь неосторожным движением спугнуть её. – Я очень боюсь альтруистов. Они приносят несчастье.

Ладов промолчал.

– А теперь извините, Александр Иванович, мне пора на своё рабочее место.

– А как же чай? – приподнялся Ладов.

– В другой раз. – И опять на её губах появилась обворожительная улыбка. – Спокойной ночи.

Он проводил её, вернулся в номер. Нервно засмеялся: вот тебе и пофлиртовал. «Уж не экстрасенс ли она? – подумал Ладов. – Развелось нынче всяких...»

Укладываясь, вспомнил Солонецкого.

За годы, что не виделись, тот явно сдал.

С тайным удовлетворением подумал, что теперь годы стали его союзником: слишком долго Солонецкий опережал его. Начиная с того вечера, когда увёл Ирину...

Потом стал думать об Ольге Павловне и незаметно уснул.

Снилось ему что-то приятное, но что, он так и не смог потом вспомнить.

...Проснулся утром с юношеским настроением ожидания чего-то радостного. Прихватил шоколадку, приготовил улыбку, но Ольги Павловны на месте не оказалось.

Тем не менее в кабинет начальника строительства он вошёл в прекрасном настроении.

Солонецкий перелистывал какие-то бумаги.

Ладов разделся, энергично потёр руки.

– Слушай, неплохая у тебя гостиница.

Опустился в кресло

– Позавтракал? – поинтересовался Солонецкий.

– Ты можешь на пятнадцать минут оторваться от всего этого? – Ладов вспомнил о цели своей командировки.

– Просьба начальника – приказ для подчинённого... – Солонецкий откинулся в кресле. Ладов подошёл к селектору, подождал, пока секретарша ответит и приказал:

– Никаких посетителей, никаких звонков.

– Поняла, – неуверенно отозвалась та, не узнавая голос своего шефа.

Ладов вытащил из «дипломата» прозрачную папку, достал конверт, протянул начальнику строительства.

Пока Солонецкий читал, он разглядывал кабинет.

В прошлый его приезд этого здания ещё не было и начальник строительства ютился в вагончике. Когда на планёрку набивался народ, ведущие специалисты тесно стояли возле стен, даже в коридорчике. Производственное совещание напоминало революционный митинг. Правда, и время было горячее, самое начало стройки. Теперь кабинет был настоящий: в деревянных панелях, с длинным столом и встроенными шкафами. Пожалуй, даже просторнее и светлее, чем у него в главке.

Но если бы хозяином стал он, пришлось бы многое менять... И прежде всего этот вытертый ковёр и допотопную мебель.

Солонецкий брезгливо отбросил листок.

– Будешь проверять?

Ладов аккуратно вложил листок в конверт, положил его в папку, развёл руками.

– А вы, Юрий Иванович, поступили бы иначе?

– Извини, – Солонецкий резким движением отодвинул документы, и те посыпались на пол.

Он нагнулся, неторопливо собрал.

Выпрямился:

– Вот уж не думал, что цель твоей командировки – проверять сплетни.

– Ты невнимательно читал. Там речь идёт и о нарушениях финансовой дисциплины.

– Саша, Саша...

Солонецкий поднялся, подошёл к окну.

От вчерашнего тумана не осталось и следа. На горизонте алела полоска рассвета, и он подумал, что это, может быть, последний солнечный рассвет перед долгой заполярной зимой... Кому это нужно было, кто написал всю эту чепуху?.. Нарушения финансовой дисциплины.

Да у кого их не бывает, как им не быть, если всюду жёсткие рамки инструкций и головотяпство. Если обещанного ждут три года, а самое часто употребляемое слово среди строителей – «выколачивать». Если нет такой бригады, где всего было бы в достатке: только вкалывай, как говорят мужики, без остановки... Нет, такого он не помнит и, насколько знает, в других управлениях этого тоже нет. Есть простои, авралы, сверхурочные и перерасход фонда заработной платы. Есть толкачи, умеющие обойти, подкупить, вырвать у другого из глотки...

И вот эта неприкрытая клевета...

– Не раскисай, – бодренько произнёс Ладов. – Если всё чисто, чего тебе бояться.

– А ты допускаешь, что не всё?

– Давай закончим этот разговор. – Ладов наклонился к селектору:

– Пригласите главного инженера и заместителей. – Повернулся к Солонецкому. – Кузьмин справляется?

– Справляется, – неохотно ответил тот.

В кабинете повисла напряжённая пауза.

Солонецкий сердито барабанил пальцами по столу.

Ладов прохаживался, разглядывая развешанные на стенах схемы будущей гидроэлектростанции.

Вошёл Кузьмин, поздоровался, присел с торца длинного стола.

За ним появился Костюков с неизменной папкой, шумно занял своё место, вздохнул:

– Совещание?

Не дождавшись ответа, уткнулся в папку.

Друг за другом вошли флегматичный Смирнов и белый как мел хронический почечник Шипицын. В который раз Солонецкий подумал, что надо бы подыскать ему место полегче, но не ниже. Понижения Шипицын не заслужил.

– Вас пригласил Александр Иванович, – сказал Солонецкий и отошёл к окну, показывая, что то, о чём пойдёт речь, его совершенно не касается.

– Я буду краток, – начал Ладов, делая вид, что не замечает поведения начальника строительства. – Вы лучше меня знаете, в каком положении находится стройка. Скоро заканчивается год, в главке серьёзно озабочены положением дел. Квартальный план не выполнен, тематические задачи не решены... В чём причины? Хотелось бы услышать ваше мнение. Завтра в десять я жду вас, Геннадий Макарович, со своими соображениями. Затем остальных... Юрий Иванович, вы ничего не хотите добавить?

– У вас всё?

– Если вопросов нет...

Солонецкий вернулся к столу, оглядел присутствующих.

– Ну что ж, давайте работать, товарищи.

Подождал, пока закроется дверь за выходящими, с усмешкой произнёс:

– Не считай других глупее себя...

– Что ты имеешь в виду?

Солонецкий промолчал.

– Хотел на них посмотреть... – Миротлюбиво признался Ладов. – Среди приближённых сто предателей на одного друга – кажется, такую арифметику вывел какой-то из императоров. Конфликтуете с главным инженером?

– Он – толковый инженер. Не думаю, что он писал... Ошибусь – в сторожа пойду.

Ладов снисходительно улыбнулся, но начальник строительства этого не заметил.

Солонецкий вспомнил приезд Кузьмина.

Когда тот впервые вошёл в кабинет, он принял его за студентастаршекурсника. Удружили, разочарованно подумал тогда. Хвалили-расхваливали, а на самом деле опять чей-нибудь сыночек или племянничек... За три года от инженера производственного отдела до начальника строительно-монтажного управления взлететь не просто.

Тут хоть семи пядей, а без покровителей никак...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.